ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№8 1990

ГОВОРИТ РОССИЯ

"Наконец-то сказано то, что давно пора сказать, что волнует очень многих россиян разных национальностей. Невозможно смотреть передачи ТВ: будто мы не в России. Кто эти "великие русские поэты", "гениальные русские художники" и т. д.? Протаскивают псевдорусское, враждебное русской культуре, национальному духу. Русская культура, литература, искусство – достояние всех народов, потому так больно за все, что происходит.

Козета Рахиевна БЕК, адыгейка по национальности, журналистка, *г. Москва".*

"Больно смотреть, как несколько десятков "прорабов" перестройки оседлали средства массовой информации и насаждают спекулятивный плюрализм, расшатывают общественное хозяйство, чтобы распродать народное добро за бесценок под бесконечную демагогию о неспособности нашего народа пользоваться плодами своего труда.

Юристы Одинцовской прокуратуры и следственного отдела Одинцовского УВД поддерживают усилия писателей, деятелей науки и культуры России, направленные на справедливое для России распределение средств массовой информации.

И. СКВОРЦОВ, В. АРТЕМОВ, Ю. ПАЛЬЦЕВ, всего 32 подписи,
г. Одинцово Московской области".

"Полностью согласна с Письмом. Считаю себя русской (хотя до XX века у нас в роду была греческая, болгарская, польская кровь), горжусь этим.

Е. ПОПОВА, *г. Усть-Илимск".*

"Это Письмо должно быть донесено до каждого гражданина нашей страны.

А. ЧИРВА, *г. Харьков".*

"Восхищаюсь героическим шагом инициаторов этого Письма. И отмечаю в нем высокий уровень научного анализа.

И. БЛОХИН, канд. исторических наук, доцент,
г. Калининград Московской области".

"Я не являюсь ни именитым писателем, ни выдающимся художником. Я – рабочий. Но я русский человек и почитаю недостойной позицию стороннего наблюдателя в развернувшейся борьбе за национальное возрождение Родины, за возрождение национального русского духа. В этой борьбе Вы всецело можете располагать мною.

К. ПУТНИК, *г. Челябинск".*

"Наша государственность дает трещину, к власти рвутся новые Троцкие; КПСС не способна далее править страной, русские оскорблены и унижены, мы у последней черты.

К власти должны прийти национальные силы, которые смогут возродить Россию на основе уже сложившихся реальностей, без катастрофических "экспериментов".

А. БУЕРАКОВ, фельдшер, *г. Балашиха Московской области".*

"Демократизация и гласность, увы, работают пока против русской истории, против русского народа, против его культурных и национальных традиций. Еще ничего не сделано для экономического оздоровления страны, но уже много сделано для того, чтобы поссорить русский народ со всеми другими.

...Борясь за социальную и правовую защищенность отдельных лиц, не забываем ли мы о социальной и правовой защищенности нашего Отечества? Где те механизмы, которые обеспечивают нашу внутреннюю прочность, прочность нашей российской государственности? Увы, их нет. И наш славный депутатский корпус пока будто не намерен его создавать.

Ю. МАРКОВ, профессор, *г. Новосибирск".*

"Благодарен Вам за твердое решение стоять на стороне народов России по защите нашей культуры, нашего духа, просто российской жизни, по защите матери-России.

Командуя объединением внутренних войск, о национализме знаю не понаслышке – по личному участию в борьбе с ним в Степанакерте, Сумгаите, Кировабаде, Баку (неоднократно).

В борьбе за права России Вас поддерживает абсолютное большинство моих боевых товарищей – офицеры, прапорщики, сержанты и, что самое главное, – солдаты.

Л. ПАВЛОВ, генерал-майор и его семья,
г. Горький".

В настоящее время в поддержку Письма поступило более 5700 откликов.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№8 1990

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **З. С. Гуляевская, М. И. Кононова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-76 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем).

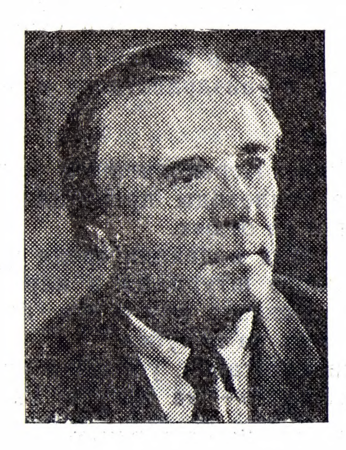
Сдано в набор 14.05.90. Подписано к печати 31.07.90. А 02434.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Высокая печать.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,94. Тираж 467 952 экз. Заказ 1244.

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.



ПРОЗА

ВИКТОР АСТАФЬЕВ



НЕ ХВАТАЕТ СЕРДЦА

РАССКАЗ

И сами боги не могут сделать бывшее небывшим.

Греческая пословица.

Брат доживал последние дни. Муки его были так тяжелы, что мужество и терпение начали ему изменять. Он решил застрелиться, приготовил пулю, зарядил патрон и ружье и только ждал момента.

Мы почувствовали неладное, разрядили ружье и спрятали его на чердак. Наркотики, только наркотики, погружающие больного в тупое полузабытье, чуть избавляли его от страдания. Но где же найти наркотики в богоспасаемом поселке Чуш? Ночью, продираясь сквозь собачий лай и храп, вырывая себя, будто гвоздь из заплота, из пьяных рук мужичья и резвящихся парней, пробиралась в дом брата больничная дежурная сестра с бережно хранимым шприцем.

Переведя дух, бодро улыбаясь нам и брату, она открывала железную коробочку с ватой и шприцем, просила больного приобнажиться и делала «укольчик».

Винясь за что-то, сестра делала попытку еще раз улыбнуться, желала больному спокойной ночи и опадала в темный коридор заплотов, сараев, перемещалась от дома к дому, от двора ко двору. И по мере того как лай чушанской псарни удалялся, затихал и наконец совсем умолкал, мы все тоже успокаивались и с облегчением в сердце выды-

---

Предлагаем вниманию читателей рассказ, не вошедший в повествование «Царь-рыба», опубликованное в №№ 4—6 «Нашего современника» за 1976 год.

хали — медсестра благополучно добралась до поселковой больницы, располагающейся в деревянном бараке образца тридцатых годов.

Но так было недолго — в Чуш на лето собирались бродяги всех морей и океанов,— эти ради шприца с наркотиком и на преступление пойдут. Взяв на сгиб руки топор, Аким провожал сестру до больницы и чуть было роман с нею не заимел — помешала занятость и болезнь брата.

Время шло. «Укольчик» действовал все слабее, и все виноватей делалась улыбка сестрицы, аккуратно и самоотверженно идущей в ночь, в непогоду, чтобы исполнить почти уже бесполезную работу.

И тогда я решился ехать в ближний город, где жил мой товарищ, там жена его работала в райздравотделе и, пожалуй, сможет достать нужные лекарства.

Уехал я не сразу.

Была середина лета. Переполненные норильскими трудящимися еще в Дудинке белые теплоходы проносились мимо Чуша. Северный богатенький люд двинул на отдых.

Наконец один теплоход подвалил среди ночи к чушанской пристани. Я отыскал вахтенного штурмана в нарядной кремовой рубашке, в форменном картузе, обсказал ему о том, как необходимо мне ехать, просил любое место, «хоть на палубе».

Штурман даже расхохотался, услышав про место на палубе. Сказалась психология прошлого — на палубе, на дровах и на мешках, в четвертом классе, ныне никто не ездил и самого этого «класса» давно не было.

Понявши, что все я погубил своим первобытным, вежливым примитивизмом, я употребил крайнее, малонадежное средство, я выскреб из-под корочек записной книжки тоненько слипшийся коричневый билет.

Разлепивши ногтем билет, на корочке которого тускло светились буквы «Союз писателей СССР», а в середке конопушками пропечатались сырые табачины — не курю уж который год, но табак все виден, во зараза! — штурман недоверчиво читал билет, потом еще более недоверчиво осматривал меня, сказав, что впервые в жизни держит в руках подобный документ и видит живого писателя. Я от такого внимания сперва смутился, потом приободрился и на вопрос, что лично мною написано, назвал две последние книги, напечатанные в Сибири. Штурман признался, что ничего моего не читал — некогда читать книги — навигация, но по радио слышал что-то. Бдительность в этих каторжных местах развита от веку, и штурман на всякий случай еще спросил: не родня ли мне Николай Васильевич Астафьев, работающий механиком на теплоходе «Калинников». Я сказал, что родня — это сын моего дяди, по прозвищу Сорока, убитого на войне. И пояснил, что хотел дать на «Калинников» телеграмму, но в поселке вышел из строя телеграф, ремонтники же, прибывшие на повреждение, неожиданно для себя и для всего народа загуляли.

Штурман задумался. Он решал какую-то трудную задачу и решить должен был быстро, теплоход, приткнувшийся к синему дебаркадеру, уже начинал отшвартовываться.

— Есть у нас одно место, но...

— Я освобожу его по первому требованию. Могу вообще не занимать место, на палубе постою...

— Посмотрели бы вы на себя! — вздохнул штурман.— Словом, едет в двухместной каюте один пассажир. Заплатил и едет. С удобствами. Богатый. Разницу мы ему выплатим. Только вы ни мур-мур...

Штурман повел меня к окошечку кассы и ушел будить кассиршу.

Я настороженно слушал, как внизу подо мною вздыхают машины, как негромко и деловито звучат команды на капитанском мостике, напряженно следил за щелью, все шире и шире разделяющей теплоход и дебаркадер...

Проснулся я уже неподалеку от города, в котором надлежало мне высаживаться. Сквозь решетку деревянных жалюзи слабо и рифлено сочилось солнце.

У дверей каюты справный, но бледный телом мужик в плетеных белых трусиках, чуть отемненных в соединении и на поясе, старательно делал гимнастику.

— Доброе утро! — бодро заявил он не оборачиваясь.

Я не сразу сообразил, что он видит меня во вделанное в двери зеркало.

— Хотел я скандальчик закатить, но... пассажир некурящий... к тому же писатель!..

Говоря все это, он бодро, без одышки делал телодвижения. Вот начал наклоны туловища вперед, откидывая ко мне чуть зарифленный зад с туго подтянутыми в сахаристом материале трусов «причиндалами». Мне почему-то до нестерпимости захотелось дать физкультурнику ногой «под корму».

Долго, тщательно умывался хозяин каюты, еще дольше вытирался розовой махровой простыней, вертелся перед зеркалом, любуясь собой, поигрывая мускулами, раздвигая пальцем рот — чудился ему в зубах какой-то изъян или уж так гримасничать привык. Он выудил из-под стола бутылку коньяку, огромную рюмаху, напоминающую гусиное яйцо, плеснул в нее янтарно-коричневой жидкости и, держа посудину в пригоршнях, отпил несколько мелких глотков, небрежно бросая при этом в рот оранжевые дольки апельсина.

Я глядел и дивовался: вот ведь выучился ж где-то культуре человек! А мы, из земли вышедшие, с земляным мурлом в ряды интеллигенции затесавшиеся, куда и на что годимся? Культурно покутить и то не хватает толку! Не умеем создать того шика, той непринужденной небрежности в гульбе, каковая свойственна людям утонченной воспитанности, как бы даже и утомленье имеющих от жизненных пресыщений и благоденствия. Друзей-приятелей моих во время столичных торжеств непременно стянет в один гостиничный номер. Курят, выражаются, пьют по очереди из единственного стакана, кто подогадливей, полоскательницу из санузла принесет. Выхлещут дорогой коньяк безо всякого чувства, сожрут апельсины иногда и не очистив — некогда потому что, орать надо насчет соцреализма, о его пагубных последствиях на родную литературу вообще и на нас в частности. Так и не заметит, не вспомнит никто потом, какой напиток пили, у кого и за сколько его ночью покупали, каким фруктом закусывали.

Утром самые умные и храбрые пойдут на поклон к горничной, станут ей совать червонец — насвинячили в номере, последний стакан разбили, натюрморт спиной со стены сшибли.

Хозяин каюты начал неторопливо одеваться. Свежие носки, свежую рубашку, брюки из серой мягкой шерсти с белеющими, наподобие глистов, помочами — все это надеть-то — раз плюнуть, но он растянул удовольствие на полчаса. Обмахнув щеткой и без того чистые светло-коричневые, скорее даже красноватые туфли, подбриолинил на висках волосики, идущие в убыток, взбил пушок над обнажающейся розовенькой плешинкой, которая, понял я, была главным предметом беспокойства в его сегодняшней жизни.

Делая все это, он попивал коньячок и без умолку болтал, сообщив как бы между прочим, что едет в «загранку» с тургруппой министерства цветмета, что в Красноярске его ждут четверо соратников из управления. Отметив встречу в «Огнях» (ресторан «Огни Енисея» захудалого типа), он уже через какие-то дни будет в Париже: «Какие девочки в Париже, ай-яй-яй!»

— Не бывали в Париже? Жа-аль! Коньячку не желаете?..

— Я самогонку пью.

— Вы что так злы? Понятно, несчастье, понятно, устали. Вы и впрямь из сочинителей? Извините, по внешнему виду...

— Вы знаете, сколь я их ни встречал, сочинителей-то, они все сами на себя не похожи...

— Ха-ха-ха-ха! Ценю остроумие!..

— А при чем тут остроумие-то?

Он был чуткий, этот мужчина-юноша, к тому, что сулило ему неприятности, умел избегать их и перешел на доверительно-свойский тон:

— «Раковый корпус», «В круге первом» Солженицына читали?

— Нет, не читал.

— Да что вы?! — не поверил он.— Вам-то ведь доступно.

— Нет, недоступно.

— Ну, а...

— Я считаю унизительным для себя, бывшего солдата и русского писателя, читать под одеялом, критиковать власти бабе на ушко, показывать фигушки в кармане, поэтому не пользуюсь никакими «Ну а...», даже радио по ночам не слушаю.

— И напрасно! Глядишь, посвежели бы! Не впустую, стало быть, молвится, что литература отстает...

— От жизни?

— Хотя бы!

— В том-то и секрет жизни, юноша, что и отставая, она, холера такая, все равно чего-нибудь да обгоняет...

«Парижанин» утомился, я отвернулся и стал глазеть в окошко — всю-то зимушку это нами новорожденное существо таскало крадучись денежки в сберкассу, от жены две-три прогрессивки «парижанин» ужучил, начальство на приписках нажег, полярные надбавки зажилил, лишив и без того подслеповатого, хилого северного ребенка своего жиров и витаминов. По зернышку клевал сладострастник зимою, чтоб летом сотворить себе «роскочную жизнь».

И сотворил! Горсть карамелек по столу нечаянно разбросана, апельсинчик звездой разрезан, «цветок засохший, безуханный» валяется, позолоченная штука, которой что-то и где-то ковыряют, блестит, бутылка заткнута безутечной пробкой, чтобы питье аромата не теряло. Рюмки не стоят — на боку лежат. Коньяк из них следует не лакать, не хлестать, а высасывать, как сырое яйцо. Меня бы и стошнило небось, баринок же этот советский ничего, привычен. Во какие у нас в стране достижения! Во к каким вершинам интеллекта мы подвинулись!

Где-то, поди-ка, был или еще и есть в этом самозабвенно себя и свои культурные достижения любящем человеке тот, который строем ходил в пионерлагере и взухивал: «Мы — пионеры, дети рабочих!..», потом тянул на картошке, моркошке да на стипендии в политехе; где-то ж в костромской или архангельской полуистлевшей деревне, а то и на окраине рабочего поселка с названием Затонный доживает или дожила свой век его блеклая, тихая мать либо сестра-брошенка с ребятишками от разных мужиков — жизнь положившие на то, чтоб хоть младшенького выучить, чтоб он «человеком стал».

Такие уже на похороны не ходят, не ездят. Зажжет интеллектуал свечу негасимую перед «маминой» иконой, то есть из родной деревни вывезенной, с разрешения жены напьется и церковную музыку в записи послушает, скупую слезу на рубаху уронит. Ложась спать, тоскливо всхлипнет: «Э-э-эх, жизнь, в рот ей коптящую норильскую трубу... Отпеть маман просила, да где она, церковь-то, на этой вечной мертвой мерзлоте?..»

— Веки вечные кто-нибудь от кого-нибудь отстает, значит, есть кого и чего догонять. Раз так, общество не слабнет. Вы же слышали: заяц вымирает, если никто его не гоняет,— продолжил умственный разговор все еще куда-то снаряжающийся, все еще чего-то на себе подживляющий хозяин каюты.

— Потрясающее открытие. Может, не самая лучшая, но самая

лукавая за все разумные времена литература не хочет никого обгонять по простой причине, чтоб не показать голого заду.

— А вы — диалектик?

— Еще какой! Я ее, диалектику-то, воистину не по Гегелю, я ее по речам родного отца и учителя постигал. Здесь вот,— постучал я пяткой в пол теплохода,— на берегах родной реки, юноша, на практике осуществлялся его клич: «Самое ценное для нас — кадры!». Заметьте, юноша: не люди, не человеки, а ка-адры! Да уж где-где, но в вашем-то городе солнца эта диалектика получала самое яркое осуществление...

Юноша-мужчина покрылся серостью, румянчик его разом зажух. Он засуетился, захлопал себя по карманам и стриганул вроде бы чего-то искать. Этот закроет амбразуры, недозакрытые нами! Этот заступится за друга, за соседа! Этот перестроит мир!..

Явился мой сосед снова жизнерадостный, бодрый, освеженный енисейскими ветрами. Из-под подушки он выудил маленькую кинокамеру с пулеметным дульцем, пожужжал ею в растворенное окно и, тяготясь молчанием, предложил сходить в салон-ресторан: «Меню там, правда...». Я ответил, что на ресторан у меня денег нет и потерплю я до пристани назначения, там у друга огород свой, картошки не покупные.

— Н-ну, так уж и нету. Вон, говорят, у Шолохова миллионы!

— У вас, юноша, неточная информация! Миллионы — это у детективщиков, например у Василия Ардаматского.

— Ардаматской? Ардаматский? Что он написал?

— «Путь Абая».

— А-а! Да-да. Переводной роман. Я вообще-то предпочитаю иностранную литературу. Французскую в частности. Балуюсь языком. Кесь-кесю, месье? — сверкнул он начищенными зубами.

— Как затянет месье Будервиль — да родную лучину. Как пойдет отбивать трепака — Петипа!..

— Вознесенский?

— Как это вы угадали?

— Ритмика энергичная. И пафос! Пафос!

— Да-а, по пафосу он у нас действительно. Еще Евтушенко мастак по пафосу! Так и рвет рубахи на грудях! На чужих, правда. Здоровый малый.

— Вы знакомы?

— Не сподобил бог.

Тучнеющий, несмотря на гимнастики, юноша-мужчина упорхнул на палубу, резво пробежал мимо окна с выводком девиц, жужжа кинокамерой. На бегу же он просунул руку в окно за бутылкой, сгреб в горсть два апельсинчика. С палубы послышались возгласы, щебет и даже рукоплескание.

Несколько разморенный коньячком и весельем, сосед мой вернулся в каюту, прилег на подушку, полуприкрыл глаза. У меня постель уже изъяли, при этом горничная долго не могла найти полотенца, которым я так и не воспользовался. Свернутое пластинкой, оно завалилось за спинку дивана. Пока горничная возилась, искала полотенце, подозрительно на меня взглядывала, я вспоминал, как в Свердловске знакомый литератор свалился с четвертого этажа в пролет лестницы, угодил задом на решетчатую скамью, побил ее в щепки, сам при этом даже царапины не получил, даже бутылка коньяка в боковом кармане сохранилась, первая мысль у него была земна и до удивления обыденна: «Вот, еще и за скамейку платить придется...»

Моя мысль тоже вертелась вокруг полотенца, за которое я готов был заплатить хоть впятеро больше, чтобы штурман-добряк не получил нагоняй: «Пускаешь кого попало в классы?!» Сосед же мой до самого Парижа — Атаманова (есть такая пристань ниже Красноярска — рядом с какой-то атомной заразой оздоровляются норильские дети в пионерлагерях и нежатся, набираются сил северные «парижане»), так

вот, млея от сладострастия, станет мой «парижанин» до самого Атаманова вопрошать: «Хейли, Апдайк сопрет полотенце?!»

Мимо окон раз-другой белогрудой ласточкой пролетела девица с надменным поворотом головы и треплющимися по ветру волосами, оживленно хохоча. Всякий раз при ее мелькании мимо окна вздрагивали веки моего соседа и плотоядно заваливались вглубь бледнеющие крылышки непородистого носа.

Да-а, крепко я помешал компании норильских интеллигентов культурно отдыхать, крепко!

— Послушайте, юноша! Вот за этим мысом будет остров, потом еще остров, потом заворот в протоку, и я с вами распрощаюсь, извинившись за неудобства, вам доставленные. Но я хотел бы задать вам один вопрос взамен многих вами заданных: вы мне все рассказывали о роскошной жизни в Норильске, о розариях, о бассейнах, о заработках, о фруктах, везомых по воде и несомых по воздуху, даже о французской туалетной бумаге с возбуждающими картинками, но вот о городе, о самой-то его истории — ни звука...

Не открывая глаз, все так же развалисто дыша, юноша-мужчина пожал плечами:

— Разве есть у него история?

Все! Больше ни слова. Есть город Норильск, где венчался, то есть в горзагсе расписался премьер-министр Канады Трюдо, капризам которого надо потакать. У Трюдо надо выпрашивать хлебушек, пусть и за золото. Это вам не советский колхозник, у которого можно забрать все и ничего ему не давать. Трюдо увидел город фонтанов, дворцов, монументов, город трудной, но высокооплачиваемой жизни, город, к которому, минуя сотни поселков и старых приенисейских полуголодных городишек, современные транспортные средства мчат все самое вкусное, модное. Но есть город, о котором не хочет знать и думать этот вот, перенасыщенный информацией, современный строитель передового общества, презирающий литературу за «отставание от жизни», в которой и впрямь больше говорят, постановляют, рукоплещут, пляшут, пьют и поют, чем пашут.

Все так, все так. Но этот сотворитель современной жизни и светлого будущего «прошел» в школе, «сдал» в политехе и прошлую нашу, блистательную литературу. Все прошел, все постиг, что ему нужно для удобства жизни.

История ж его города неудобна, груба. От нее может голова разболеться, от нее задумываться начнешь. А вот задумываться-то этот сладострастник и не хочет. Зачем? Он ждет в каюту ласточку-красотулю, а я тут с «историей».

Да с какой историей!

Вскоре после приключения с карасями и отплытия рассвирепевшего деда в Игарку нас обокрали. В тайге, где на избушке нет даже петли для замка по причине отсутствия лихих людей, — и обокрали.

Судя по тому, что унесено было все съестное, ружья с патронами и кое-что из одежонки, не составляло труда уяснить — сделали кражу норильцы. «Норильцами» тогда звали беглецов из тундры, строивших там город под незнакомым и еще мало кому известным названием — Норильск. Строители проводили самую северную железную дорогу — от Дудинки до будущего города. Дорога эта тут же возникла на всех географических картах. Во всех школах все учителя и ученики охотно тыкали в нее пальцем и с таким чувством говорили о ней, будто сами ее строили, больше же ни о чем не знали и знать не хотели.

На север с весны до поздней осени беспрерывным потоком шли караваны барж с оборудованием, машинами, харчами и живым грузом. Слово ЗЭК появилось потом, тогда же их деликатно именовали пере-

селенцами. Возили переселенцев насыпью в трюмах пароходов и в баржах. Енисей на севере — штормовая река, но конвой, совсем трусливый и подлый, не открывал трюмы, и, достигнув Дудинки, живые люди сгружались на берег с таким облегчением и радостью, будто достигли земли обетованной, новую Америку обживать приехали.

По северу ползли слухи один страшнее другого, однако время было воистину такое, когда словам: «Не верь своим глазам, верь нашей совести» — внимали с детской доверительностью.

Но не бывает дыма без огня и огня без дыма! Вслед за слухами о норильцах поползли и сами норильцы. Шли они сначала открыто и только по берегу Енисея, оборванные, заросшие, до корост съеденные комарами, кашляющие от простуды, с ввалившимися от голода глазами. Упорно, стоически шли и шли они вверх по реке, питаясь подаяниями рыбаков, охотников и встречных людей. Города и крупные поселки обходили, насилий, воровства и грабежа избегали. Еще действовал древний, никем не писаный закон Сибири: «Беглого и бродяжьего люда не пытать, а питать».

В тридцать седьмом году мудрое карательное начальство приняло меры: за поимку и выдачу беглого норильца — сто рублей премии, или поощрения, как туманно именовались эти воистину иудины сребреники.

Спецпереселенцы, коренные промысловики и прежде всего староверы не «клюнули» на тухлого заглотыша, они в таежных теснинах, ссылках и казематах постигали суровые, но неизбежные законы мало защищенной земли. Однако вербованные людишки, падкие на дармовщину, развращенные уже всякого рода подачками, а также наивные северные народы — долгане, нганасаны, селькупы, кето, эвенки,— не ведая, что творят, стали вылавливать «врагов народа» и доставлять их на военные караульные посты, выставленные в устьях глубоких речек.

Озверелые от тоски, вшей и волчьего житья в землянках, постовые конвойники и патрули жестоко избивали пойманных и возвращали на «объекты», где скорым судом им добавлялось пять лет за побег, а герои энкэвэдэшных служб вместе с падкими на вино полудикими инородцами пили до зеленых соплей на деньги, дуриком им доставшиеся, — вино было дешевое, время бездумное, энтузиазму полное.

В середине лета по тихому Енисею плыл плотик, на нем стоял крест, ко кресту, как Иисус Христос, был прибит ржавыми гвоздями тощий нагой мужичонка. На груди его висела фанерка, на фанерке химическим карандашом нацарапано: «Погиб пижон за сто рублей. Кто хочет больше?»

Это был вызов. Война. От селения к селению, от станка к станку ползло: «Вырезали семью долган на острове Тальничном; изнасиловали девку и грудя отрезали; живьем сожгли в избушке бакэншыка с женой — отстреливался; вышла ватага норильцев на Игарку с винтовками и даже с пулеметом, обложили город, чего-то ждут».

Деревушки и станки, рыбацкие бригады вооружались, крепили запоры, детей перестали пускать одних в лес, женщины ходили по ягоды и на сенокос партиями.

Слухи, слухи! Горазда на них наша земля, однако не очень-то пока им верили.

Но вот наша избушка в устье Демьянова ключа и лихоимство, в ней совершенное, по здешним местам неслыханное. Накладку и петлю в кузнице станка Полой мужики сковали, висячий замок в магазине приобрели. И стала таежная избушка уже не просто таежной, но потайной, человеком от человека спрятанной. Однако замок-то не от лесного варначья — от своих людей защита...

На исходе лета, как всегда недоспавшие, вялые, мы поднялись в четыре утра, чтобы плыть на сети. Зябко ежась, потянулись один по одному из избушки. Было светло. Ночи еще только начинались, стремительные, темные, августовские. Ударил первый иней. Все оцепенело вокруг. На белом крыльце избушки начищенными пятаками лежали желтые листья. За избушкой, в кедрачах, звонко, по-весеннему токовал глухарь. Стукаясь о стволы дерев, падали последние подмерзлые кедровые шишки; по всей округе озабоченно кричали кедровики, с озер доносился тоскливый стон гагары, собиравшейся в отлет.

Первые проблески длинной осени, первое холодное дыхание коснулось тайги, заплыло в ее гущи — скоро конец нашей рыбалке.

Послышался чей-то короткий окрик, я думал, папа решил меня подшевелить, заспешил вниз по тропе к берегу и увидел встречь идущих Высотина, папу, увидел и отчего-то не сразу почувствовал неладное, со сна его не воспринял, не испугался. Папа и Высотин уже у лодки должны быть, собирать весла, багор, иголки для упочинки сетей, запасные якорницы и всякое добро и приспособление. Кто-то, видать, заплыл или завернул к нам, вот они и вернулись. Отчего-то, правда, растерянно крупное лицо Высотина. Папа в дождевике, полы которого касались земли, мели по мху и траве, оставляя процарапанную в инее полосу, суетливая походка его как бы подсечена, замедлена — вроде бы он не идет, только дождевик двигается скоробленно, мерзло пошурхивая.

Папа, уставившись в пространство и не моргая, прошел мимо, ни слова мне не сказав. С похмелья бывает такой отстраненный и сердитый мой родитель. Я даже отступил с тропы, пропуская его. Следом за Высотиным и отцом шли двое. Молодой еще мужик с исцарапанным, щербатым лицом, кустики бровей над светлыми его слезящимися глазами ссохлись от крови. Весь его драный, затасканный облик и различимая под царапинами оспяная щербатость придавали ему свирепый вид. Однако у него была длинная, беззащитная мальчишеская шея, глаза цвета вешней травы, смешные кустики бровей, расползающиеся губы в угольно-черных коростах — все-все говорило о покладистости, может, даже и о мягкости характера этого человека.

Но именно он, этот парень, держал наперевес одноствольный дробовик со взведенным курком. За ним, хлопая отрепьем грязных портянок, вылезших из пробитых рыбачьих бродней, спешил мужик с грязно-спутанной бородой, похожей на банную мочалку, которую пора выбросить из обихода. Глаза его сверкнули из серого, спутанного волосья, забитого мушками, комарами и остатками какой-то еды, скорее всего шелухой кедровых орехов. Он давил обувью тропу, внаклон гнал себя в гору, но ускорения у него не получалось — изнурился человек.

Что-то во мне толкнулось и тут же оборвалось, свинцовым грузилом упало на дно: «Норильцы!».

Я недоверчиво осмотрел вытянувшуюся по тропе артель — сзади всех шел Мишка Высотин и почему-то улыбался. Загадочно. Всмотревшись, я обнаружил: улыбка остановилась на Мишкином лице, и ничего у него не шевелится — ни губы, ни глаза, ни ресницы, ноги тащатся сами собой и тащат его, но он их не слышит и не знает, шагает ли, плывет ли.

Тут я почувствовал, что тоже начинаю улыбаться неизвестно чему и кому, однако шевельнуться не могу. Но тот, с бородою, пройдя мимо меня, обернулся, махнул рукой и обыденно, по-домашнему позвал:

— Давай, давай! В избушку, малый. Не запирай! — крикнул он Петьке, совавшему дужку замка в петлю; никак туда не попадал он. Петька отступил от двери с замком в одной руке и с ключом в другой, понурился — небось ему казалось: если б он успел замкнуть избушку, никто бы в нее не сунулся.

Возле крыльца, руки по швам, стояли уже Высотин и отец.

Щербатый, теперь заметно сделалось, недавно бритый парень, от-

чего лицо его там, где ничего не росло — на носу, по низу лба и на щеках — было дублено, почти черно; где брито — все в бледном накате. Он встал в отдалении против дверей. Курок у ружья был совсем маленький, откинутый назад,— ружье старое, разбитое — чуть давни на собачку и...

Мне стало совсем страшно, так страшно, что все последующее я помню уже плохо и немо, как будто в глубину воды погрузило меня и закружило на одном месте. Петька теперь уже в руках терзает замок: засунет дужку в щель — замок щелкнет, ключ повернет — замок откроется. Высотин по команде смирно стоит, большой, несуразный; Мишка все улыбается; папа силится что-то значительное вспомнить, ну, например, любимое пьяное изречение: «Всем господам по сапогам, нам по валенкам».

Бородатый мужик, заметая наши следы лохмами портянок, вскакивает на белое крыльцо, выхватывает у Петьки замок и кидает его в щепу, накопившуюся возле избушки и протыканную иголками подмерзшей травы. Петька пятится, вот-вот упадет с крыльца. Высотин подхватывает его сзади, поддерживает.

Дверь избушки широко распахнута. «Выстынет же»,— хочется сказать мне. В избушке шарится чужой человек. Мы стоим подле дверей, и все та же вялая мыслишка: «Ну выстудит же, выпустит тепло!» — шевелится в моей голове. Бородатый выходит на крыльцо, обращается как Пугачев к народу, он чем-то и похож на Пугачева:

— Ружье где? хлеб?

— Обокрали нас. Ружья унесли,— отвечает четко и внятно папа.

— За хлебом не успели сплавать,— поддерживает его Высотин.

«Что говорит Высотин? Что говорит... Если они поднимутся на чердак? Хлеб у нас там! Он забыл! Забыл! Исказнят!» Тянет исправить ошибку старших, показать чердак. Но мы уже не маленькие — раз Высотин сказал, значит, надеется на нас.

— Весь хлеб на столе,— добавляет Высотин. А на столе у нас с вечера осталось полбулки хлеба, закрытого берестой.

Бородатый знаком показывает всем следовать в избушку. Входим. Чинно, будто чужие, рассаживаемся на нарах: мужики — на высотинские нары, мы, ребятишки, втроем — на наши. В избушке притемнено и не так заметно Мишкину улыбку, постепенно превратившуюся в судорогу. Тяжелее и тяжелее делается у него челюсть, оттягивает и перекашивает в сторону лицо парнишки. Сидим, праздно болтаем ногами. Петька, опершись руками о нары, готовый в любое мгновение вскочить, куда-то броситься, что-то делать.

— Нам на сети пора. Мы ведь на работе,— почему-то гнусаво завел отец,— говорите, чего вам надо?

— Закурить хотим! — В дверях появляется щербатый парень, прислоняет к косяку ружье. Взведенное.

Отец протягивает ему кисет.

— Вы что же это? Своего брата?..— качает он головой.

Бородатый мужик сломал уже несколько спичек.

— Волк — брат! — выхаркнул он из бороды вместе с дымом, цигарка, спешно скрученная, мокрая, расклеивается у него во рту, по бороде потек табак.

Парень, оседлав порог, тоже торопливо закуривает, но цигарку делает толково, туго. И видя, что его связчик цигарку свою совсем загубил, отдал ему свою, себе склеил другую, после чего высыпал в карман из кисета весь табак и молча возвратил кисет отцу, зажав коробок со спичками в кулаке.

— Еще махорка есть?

Будто по команде, все мы вскидываем головы — над нашими с папой нарами, на стене, висит белый, удавкою перехваченный мешочек — в нем спички, махорка.

— Сними! — приказывает бородатый Петьке. Парнишка словно ха-

рюзок вынырнул вверх из темной воды, схватил белый поплавочек, рванул веревочку-леску с гвоздя.

Щербатый парень не глядя бросил мешочек с табаком в свой затасканный холщовый мешок с веревками, приделанными вместо лямок.

— Разувайся! — приказал бородатый Высотину, и тот неловко начал утягивать ноги, обутые в новые резиновые сапоги, под нары.

— Ды что вы, ребята! Мы ж рыбачить... мне ж...

— Разувайся! — вдруг замахнулся и ткнул в грудь Высотина бородатый. Петька шатнулся и взвыл:

— Тя-а-а-а-тяаа!..

Как бы разбив своим выпадом некую еще существовавшую до сей минуты неловкость, сковывающую его, матерясь в бороду, скаля зубы, бородатый заметался по избушке, принялся разбрасывать постеленки наши, залез под нары, выгреб щепу и крошки сена оттуда, с вешалки Петькину телогрейку рванул, потянул на себя — не лезет, скомкал, бросил, выскреб штаны, рубаху из изголовья нашей постели, быстро их на себя натянул, стоял над кучей брошенного на пол тряпья, нетерпеливо перебирая грязными ногами, заранее радующимися теплой, сухой обуви.

— Ну!

Высотин бросил к ногам бородатого сначала один, затем другой сапог.

— Подавись! — громко, с пробудившейся ненавистью произнес он, и папа, битый жизнью и людьми больше, чем Высотин, тут же попытался сгладить эту грубость, что-то забормотал примирительное, взялся помогать мне растоплять печку. А что ее не растопить, нашу печку?! Дрова как порох, бересты сколько угодно. Загудела печка, заподпрыгивала. Оба норильца потянулись к ней.

— Портянки!

Высотин размотал портянки и остался на нарах, большой, весь босый, хотя с него сняли покуда всего лишь сапоги и портянки, казался он донага разутым и раздетым. Костистые большие ноги его вдоль и наискосок перепоясанные бледно-голубыми жилами, выглядели сиротливо, жалко.

Бородатый прямо средь избушки сел на пол и с пыхтеньем обувался. Поднявшись, он пробно потоптался, как дитя, радуясь обнове, притопнул, оскалился, и снова сверкнуло в бороде — зубы у него были молодые, еще не разрушенные, — значит, на севере недавно, оцинжать не успел.

— Ну, че? Всё? Боле у нас брать нечего. Нам на сети надо.

— Не гомони, мужик, сядь! — взяв ружье и устроив его на колени, спокойно приказал щербатый парень Высотину.— Велите одному малому принести рыбы, другому — дров, третьему — раскочегарить печку. Самим сидеть и не рыпаться! Я не конвоир, предупредительных выстрелов не даю.

— Печка топится. И не стращай девку м...ми, она х.. видала! — рыкнул Высотин.

— Хэ, посказитель какой!

— И храбрец... Его бы в Норильск, в забой.

Петька-олух выбрал из бочки, вкопанной в берег, самую отборную, желтым соком исходящую стерлядь, чем привел в неописуемое бешенство бородатого.

— Что за рыба?! Кто такую падлу жрет?! Вся в колючках!

— Уймись! — вскинул руку его спутник. — Нет ли, мужики, щуки, налима?

— Этого добра навалом!

Петька примчал соленого налимища и острорылую, величиной с полено, щучину с тряпично болтающимся выпоротым брюхом.

— Вот это жарево! — довольно потирали руки норильцы.— Это привычно. Жиру бы в нее?

— Будет и жир, только рыбий.
— Это еще лучше. Слепнуть от мошки начал. Доходим.
— И дойдете. Куды-нибудь...

Они едва дождались, чтоб прокипело в противне. Ели рыбу полусырую, не отмоченную от соли. Ели, да что там ели — жадно глотали куски рыбы, парень держал ружье со взведенным курком меж колен, и дуло, когда он клонился к столу, утыкалось ему в подбородок, я, да, поди-ка, не один я, все наши ждали и боялись: вот-вот жахнет и разнесет башку парня вместе с непрожеванной рыбой. Ну, тогда бородатому не жить — Высотин одной рукой его задушит.

Брызнул на печке чайник, наш ведерный закоптелый работяга, радостно посикал рожком.

— Давайте и мы чай пить, раз такое дело! — произнес Высотин. Надернув опорки, в которых ходили мы после сетей по избе и до ветру, снял с гвоздей кружки и хозяйничал возле стола, словно бы и не замечая ничего рядом.

— А ну-ка подвиньтесь, гости дорогие!

— Водочки б к такой-то жарехе! — промычал осоловевший от еды бородатый норилец.

— И бабу на верхосытку! — хитро сощурясь, подхватил мой папа, большой специалист в этом вопросе, и решительно налил полную кружку чаю.

— А че... А че...— не в силах выговорить ни слова от хохота, обрадовались норильцы, но кашель перешел в грудной хрип, и гости начали сморкаться и харкать на пол.

Высотин сморщился — в избушке у нас всегда было чисто.

— В Полое,— кивнул на окно папа.

Норильцы вопросительно уставились на него.

— И бабы, и вино в Полое, говорю, если же по ходу вашему — в Карасино.

— И еще сельсовет, энкэвэдэшники. Ишь ты, гадюка! — погрозил папе пальцем бородатый норилец.

— Не в Полое, не в Карасино, так в другом месте все равно нарветесь,— угрюмо и уже спокойно заключил Высотин и как бы ненароком внимательно посмотрел в окно.

— Че? — вскочил норилец с ружьем.— Че там?

— Да пока ничего...

— А-а, в рот и в...— заругались норильцы, торопясь уходить.

Сбросав недоеденную рыбу в мятый жестяной котел, остатки хлеба, спросив, где соль, насыпали ее и, наказав нам два часа не выходить из избушки — у них тут товарищи по кустам сидят,— торопливо заспешили в поход...

Мы побросали вшивое тряпье и разбитые бродни норильца в печку. Из трубы повалил жирный дым, в избушке сделалось душно. В большой кружок и в щели печки выбрасывало чадный запах.

Петька нашел в траве, все еще ломкой от инея, замок и ключ. Мы заперли избушку и спустились к лодке. Высотин в опорках был похож на какую-то нелепую, начатую с ног, но не дощипанную птаху. Мужики прятали от нас и друг от дружки глаза. Молча спихнули мы нашу ходкую и легкую лодку, на бортах и на дне которой уже отмяк и потемнел иней. Навесили лопашны, подколотили уключины. Проверив, все ли взяли, молча же, не глядя друг на друга, по реке, с ночи усмирелой и какой-то отчужденной, холодной, с вроде бы отдалившейся от воды белесой землей, медленно плыли мы от берега.

Отплыли мы далеко, когда сделалось видно: по вдавшемуся в Енисей песчаному мысу двигаются две человеческие фигурки, медленно удаляясь. Но вот на горизонте замаячил катерок или пароходишко, фигурки людей замерли и тут же исчезли в прибрежных тальниках.

...Появился у нас крючок на двери избушки, кованый, зацепистый.

Дождливой сентябрьской ночью, когда все вокруг лежало в тяжелой бездонной тьме и только печка в нашей избушке разухабисто ухала, будто играючи одолевала подъем в гору, дверь нашей избушки дернулась и в петле шевельнулся железный крючок.

Мужики рассказывали всякую всячину. Высотин много знал сказок и что-то как раз жуткое да чудовищное повествовал нам, парнишкам,— мы и орехи перестали щелкать со страху.

Все разом мы уставились на дверь, против которой мелькало огнем устье за лето изгорелой железной печки. И не только крючок, но и темные росчерки щелей на рассохшейся двери было отчетливо видно.

Крючок еще раз слабо дернулся, подпрыгнул в петле, но был он ловко загнут — из петли не выскочил.

— Кто? — вполголоса спросили мужики, вытаскивая из-под изголовий топоры, парнишки схватились за ножи — так уж у нас уговорено было: если еще раз сунутся норильцы, мужики становятся по бокам дверей, мы приседаем на пол, и пусть они входят в темную избушку, сколько бы их ни было — мясо сделаем!

За дверью не отвечали и не шевелились.

— Кто? — уже громче повторил Высотин и помаячил нам, чтоб мы не швыркали носами. Конечно же, мы и без того не дышали, и мне, да и Петьке с Мишкой, наверное, от задержанного в груди дыхания нестерпимо хотелось закашлять, кашель поднимался все выше, выше, подходил к самому горлу.

— Пустите, пожалуйста, люди добрые! — послышался за дверью тихий голос, в глуби которого угадывалась напряженность и тревога, а по верху скользило вековечное страдание бездомной души.

— Кто ты?

— Беглый я.

— Час от часу не легче!

В печке ворохнулись, затрещали и рассыпались головни. Избушка погрузилась в полутьму, сделалось слышно дождь за стенами, дребезжание составного стеколка в окне.

«Окно! Нас застрелят в окно!..»

Печка оживала, начинала махать желтеньким флажком из дырявой дверцы, обрастать горящими травинками по бокам и трубе.

— Надо печку залить! — прошептал Мишка и стал подкрадываться к чайнику, стоящему на краю печки, распространяющему горьковатый, прелый запах шипичных корней, смородинника и зверобоя. На пути к печке Мишку перехватил отец, засунул его себе за спину, в темень, и, как бы ненароком задев о сухую лиственничную стену звонким топором, грубо и в то же время просительно бросил:

— Уходи давай! Уходи!..

— Пустите, добрые люди. Пропадаю,— отчетливо и совсем близко произнес беглый с тем спокойствием, с той горечью в голосе, какая дается лишь людям, и на самом деле пребывающим на краю гибели, либо великим артистам. Может, беглый и есть артист? Черт его знает — их там, в Норильске, сказывают, всякой твари по паре.

— Не открывай! — прошелестело разом из трех ребячьих одеревенелых ртов.

Но кто же слушает ребят, тем более в таком крайнем положении!

— У нас уже побывали гости, обчистили, обсняли. Нечего брать... — подал голос мой папа, и в голосе этом послышалось мне колебание и неуверенность.

— Ходите тут!..— поддержал его еще более неуверенным голосом Высотин.— Сколько вас там?

— Один я. Один! — голос беглого слышался где-то внизу, и не сразу, но мы сообразили, что он от дверной скобы сполз на доски крыльца и лежит под дверью.— Не граб... не граблю я... не мародерничаю...— голос рвался.— Миром и богом спасаюсь...

— М-ми-иром,— слабо буркнул Высотин.— Знаем мы теперь, каким миром-то!..— Высотину казалось, должно быть, что говорит он тихо, себе под нос. Но тот, за дверью, был чуток, расслышал все и что-то хотел возразить, да вдруг разразился долгим, затяжным кашлем, и колени, сапоги ли, может, и голова его бились, стучали об дверь. Кашель перешел в хрип, в сиплое удушение. Стараясь наладить дыхание, сделать уверенным голос, беглый посулился за дверью:

— Я не х-хэ... их-хэ... ух-уду... кх-харр...— он отхаркнулся и все еще хрипло, но уже отчетливей сказал, преодолевая одышку: — Не уйду... Я на чердак... подожгу. Нет выхода...

На чердак! А на чердаке-то мешок с хлебом, кедровый орех насыпью и в бочках. Крыша сухая, слеги сухие, береста ворохами запасена, корья полно. Окошко в избушке узкое. Дверь подопрет злодей — не выскочить. Мы, парнишки, может, и... А мужики...

Беглый не торопил нас, давал время обдумать его угрозу, взвесить все. Высотин мотнул головой, отец подвинулся к двери, взялся за крючок. Высотин, распластавшись по стене за косяком, поднял топор.

Вот тогда я до глубины души осознал часто встречающиеся в книгах слова: «Секунды показались вечностью...». Пока отец вынимал крючок из петли, во мне до того все напряглось, что где-то в ушах или выше ушей тонко зазвенело, звон становился все гуще, все пронзительней, будто погружался я без сопротивления и воли в водяную беспробудную глубь.

Вынув крючок из петли, отец, как драгоценность, без стука и звяка опустил его на косяк, вдруг изо всей силы пнул дверь и отпрянул в сторону, тоже приподняв блеснувший в темноте топор.

С улицы дохнуло дождливой холодной мутью, устойчивым духом мокрой кедровой хвои и запревающего палого листа.

В проеме двери никто не появлялся. Было пусто, безгласно, недвижно на дворе, и только, воедино соединенная, шепталась беспокойная тайга под ветром, полосами хлестал в стены дождь, лился с желобков тесовой крыши в выбитые и уже полные от капель канавки вдоль завалины избушки. Но звуки струй, слитный шум леса, шорох затяжного дождя, смывающего с деревьев листья, стук капели, падающей с крыши, нам привычны, как привычна бывает тишина в своей обжитой избе, они не мешали нам слышать и узнавать всякое другое движение, даже малейший треск и шорох в ночи.

— Не дурите, мужики,— раздалось под дверью,— уберите топоры...

Я крепче сжал деревянную круглую ручку ножа, хотя не знал еще, как это я могу им пластануть человека, если он нападет на меня, почувствовал, как остальные обитатели избушки тоже сжали оружие свое, хотя, как и я, тоже не ведали — посмеют ли рубануть или ткнуть человека, надеялись, что это получится как-то само собой.

На пороге избушки возникло что-то лохматое, темное, перевалилось через преграду, поползло к дверце печи, упало со стоном, с подвыванием возле нее и лишь какое-то время спустя выдало звук:

— За... за... закройте!

Беглый просил закрыть дверь, значит, и в самом деле был один.

Закрыли двери, зажгли лампу, подбросили в печь дров.

Возле печки хохлился серой, полуощипанной вороной человек, почти обнявший железную коробку, почти упавший грудью на плоский ее верх. На лиходея он не походил совсем.

Под беглецом скопилась и потекла к порогу избушки лужа. От ремков беглеца, от серой матерчатой шапки, даже от волосьев, затянувших лицо, валил пар. Реже, реже, но все еще звучно выстукивали зубы. Не сразу, не вдруг приходил в себя гость; и первое, что увидел и услышал,— чайник, сипящий на печке. Он прижал к чайнику ладони, но кипятку попросить не смел. И не знаю отчего — от жеста ли этого просительного и жалкого, от рванья ли нищенского, от жалости ли моей природной — пропали во мне страх и злость. Я сунул ножик под

постель, взял кружку со стола и, сторонясь беглеца, стал цедить чай из рожка обгорелого чайника.

И пока лилась горячая струя в кружку, беглец не сводил с посудины глаз, а я с него, но разглядеть особо ничего не мог, лишь большой мокрый нос, как бы отделившийся голым утесом от загустелого чернолесья, крупные, в кистях худые руки да мертвецки усталые, то и дело смежающиеся, воспаленные, иссеченные ветрами зеницы, не глаза, а именно зеницы, как на старой иконе, глубоко завалившиеся в копотную темь.

Я думал, он выхватит у меня кружку, расплескает чай. Но беглец обхватил посудину, будто цыпушку, ладонями и, что-то угадав во мне или поощренный моим поступком, поскреб друг о дружку губами, сплошь покрытыми трещинами и болячками:

— Хлебца!

Я взял со стола краюшку хлеба, заглянул в прикрытый берестой противень — в нем еще оставались хрящи от стерляжьей головы, крылья, рыбье крошево, да и жижа не была вымакана кусками — из-за дождя и ветра на сети мы не выплывали уже два дня и аппетит наш поубавился.

«Везет дяденьке!» — отметил я про себя и отнес еду к порогу, сунул под нос беглому, как бы недовольно и в то же время думая: так ведь, у порога-то, нищим подают. Мне отчего-то сделалось неловко. Но беглому было не до чувствий и не до условностей.

— Храни тебя бог, дитя, — молвил он и, рванув зубами кус хлеба, шатнулся, застонал. Коркой поранило ему губы, окровенило десны, догадался я и подал гостю деревянную ложку. Он бережно заприхлебывал жижицу из противня, покрошил туда хлебца, запохрустывал стерляжьими хрящиками.

Ни взглядом, ни словом не осуждали меня мои соартельщики. Они сидели по нарам молча и праздно.

Пришелец быстро справился с едой, сделался совсем недвижен; сидя все так же на кукорках, горбясь у печи, он казался безногим.

— Спасибо, добрые люди! — наконец послышалось от печки.

Мы вздрогнули и пошевелились. Нам казалось, что беглец уснул.

— Не бойтесь меня. Я мирный человек, хотя и был военным.

— И ты нас не бойся. Ложись где-нибудь и спи. Ребятишки в печку подбрасывать будут. Потом ступай с богом,— отозвался за всех Высотин.— А что сторожились, дак не без причины. Обобрали нас тут недавно, двое...

— Двое?! — беглец неожиданно резко повернулся от печи и сморщился, должно быть, свет лампы резанул его воспаленные глаза.— Один с оспяным лицом, молодой, вооруженный? Другой бородат, вроде меня замызган? Злой? Хваткий?

— Оне.

— Живы, значит. Идут. Двигаются... — беглец помолчал, покачался на кукорках, затем, по-стариковски опираясь руками о колени, поднялся.— Ой, хорошо, мужики, что не затеяли вы противоборства! Лихие это головорезы. Страшные люди. Они б их,— кивнул он на нас, парнишек, сидящих рядком на нарах,— они б и детей не пощадили...

Беглец уже осмысленно, с чувством даже какого-то отдаленного достоинства, попросил закурить, затем, если можно, попросил затопить баню.

— Я ведь понимаю, все понимаю,— пояснил он.— Улягусь тут, вы из-за меня бодрствовать станете... А я в баньке... вы меня подопрете — и вам спокойно, и мне безопасно... Снеси дров, милый мальчик,— обратился он ко мне. Пошевелился, поворочался на месте, будто отаптывал себе место, повременил, подумал и глухо, пространственно уронил: — Пока баня греется, я расскажу вам о себе и о тех двух...

— Как уже имел честь сообщить вам, в прошлом я военный. Звание мое полковник,— спустя время начал рассказ беглец, неторопливо и раздумчиво, в расчете на длинный разговор,— хотя смолоду пророчили мне сан священнослужителя. Но так повернулась судьба: вместо семинарии — военное училище... Похлопочите, похлопочите, ребятки,— сказал он мне и Петьке.— Я подожду, не буду рассказывать — вам на будущее следует знать то, что я поведаю...

Пока мы с Петькой таскали дрова в баню и затопляли каменку, беглец успел вздремнуть и совсем уже ободрился, лишь кашлял затяжно, надрывно, но, судя по всему, здоровый был человек, тренированный и стойкий.

— Не случись революции, быть бы мне попом, приход бы получил, скорее всего сельский, как мой покойный батюшка. Однако же не одна моя жизнь и судьба приняли тогда немыслимо крутой поворот, не один я взорлил и из кандидатов в тихого, прилежного семинариста оборотился вдруг рубакой-кавалеристом. Самим Семеном Михайловичем замечен был, орденом награжден и определен в военное училище. Затем направлен на Дальний Восток, однажды был ранен в схватке с перебежчиками. Ранение с виду не опасное, однако сухожилие на ноге перебито. В госпитале я получил второй орден Красного Знамени, но вышел оттуда хромым, ни к какой полезной деятельности не пригодным, потому как всю свою молодость провел в седле и обучен был только военному делу.

Какое-то время я болтался без дела, подумывал уж махнуть на одну из новостроек, обучиться там какой-либо профессии и начинать жизнь заново. Но в это время затеялось укомплектование военных округов, и я был направлен в Киевский военный округ, получил там должность в одном из отделов, ведающих военной тактикой кавалерийских подразделений.

Увы, тактика эта, как скоро обнаружилось, со времен гражданской не менялась, и ни у кого не являлось пока желания менять ее. Холили коней, рубили лозу, лихо скакали с саблями наголо и пели песню: «Никто пути пройдённого у нас не отберет, конница Будённого — дивизия, вперед!..».

В странах Антанты тем временем строились авиационные и танковые заводы, в Германии фашисты взяли власть в руки. Тревожно кругом, у нас же в частях все еще идет праздник, все еще песенки да победные речи...

Словом, после инспектирования кавалерийских и взаимодействующих с ними частей я выступил на Военном совете округа с критикой. Меня попросили изложить мое «особое» мнение письменно, что я и сделал незамедлительно. Тем временем начались летние маневры. В качестве военного советника я был представителем в конном корпусе, которому надлежало проделать глубокий рейд в тылы «врага».

Комкор, бывший царский офицер, был человеком с военной выучкой, подкован на все четыре, как говорится, и тактически, и практически, в гражданскую войну доказал честность свою и храбрость. Но среди помощников его, особенно среди командиров эскадронов, все еще было много народу, умеющего лихо рубить шашкой и кричать «ура», но не привыкшего шевелить мозгами.

Неразберихи, разброда было уже много и в начале рейда, карты, да и те допотопные, перекалькированные еще с карт империалистической войны, были лишь у командиров соединений и полков, эскадронным карт не досталось. Они особо и не горевали, заверяя, что и по нюху все «зроблят як трэба». Но «нюх» у многих уже притупился, да и заданная скорость маневра была уже не дедовская. В первые же сутки мы потеряли несколько эскадронов, но времена мирные, война «игрушечная» — не пропадут, решили мы, подзабыв, однако, что люди всюду навострены насчет шпионов, врагов внутренних и внешних, насчет внезапного нападения. Наши «бродячие» эскадроны, а количество их воз-

растало с каждым днем, вместо выхода «в тыл врага» угодили на минные поля — маневры были приближены к боевым, мины ставились с запалами. Многие старые рубаки мин и в глаза не видели. Началась паника, потеряны лошади, несколько человек погибло, раненые были, но главное — мы сорвали «операцию». Взаимодействия никакого с танковыми соединениями не наладили, внезапным появлением бродячие конники перепугали танкистов, и те уж кое-где боевыми снарядами палить по ним принялись...

Командир корпуса, начальник штаба корпуса, начальник политотдела, как и председатель Военного совета округа, были разжалованы и отданы под суд. Троих приговорили к пяти годам, меня, за мое письменное «особое» мнение, сеющее безверие в рядах Красной Армии, удостоили десяти. Во всем округе, во всей армии тоже вдруг пошла «чистка» и не остановилась, слышно, по сию пору. Много военного люду, затем и гражданского пошло и поехало по этапам — насыпью в вагонах, навалом в баржах.

В Сибирь зимой в вагонах везли, раз в сутки воды давали, об еде и говорить не приходилось. По очереди ржавые вагонные болты лизали — в куржаке они были, обмерзлые, кожа с языков обрывалась.

Весной в Красноярске погрузили нас на баржи, без нар, на голом дощатом настиле, под которым плескалась вода, и повезли на север. Из «десятки» знаменитой старой баржи, в которой поочередно возили на север то картошку, то людей, шкипер и охрана лениво откачивали воду, настил заливало, и мы спали тогда стоя, «обнявшись, как родные братья». Кормили раз в сутки мутной баландой и подмороженным картофелем. На палубу нас не пускали, и оправлялись мы в бочки, которые погружены были вместе с нами, под рыбу. Где-то, на какие-то уж сутки, не помню, начался шторм, нас било бочками, катало по утробе баржи, выворачивало наизнанку. Мертвецов изломало, изорвало в клочья и смыло месиво под настил.

Почти месяц шли до Дудинки. Наконец прибыли, по колено в крови, в блевотине, в мясной каше, и голый берег заполярный показался нам землей обетованной, поселочек и пристань Дудинка с вихлястыми, мерзлотой искореженными деревянными домишками — чуть ли не раем господним.

Нас погнали в глубь тундры пешком. На пути мы стали встречать бараки, будки, людей, пестро одетых, которые делали полотно для железнодорожной линии. «Ну, брат,— сказал я себе,— отмахался сабелькой! Не все ломать, надо когда-то и строить...»

В тундре, на берегу небольшой речки, меж озер и болот стояли бараки, много бараков, стояли дома, несколько двухэтажных, один даже с красным флагом на коньке! — это и было начало будущего города Норильска.

Увидел я красный флаг, жилье увидел, людей, огни и, знаете, както успокоился даже. Раз так судьбе угодно, буду строить, буду хорошо работать, мне это зачтется и я освобожусь досрочно. Так было — рассказывали заключенные — на Беломорканале. Вместо пяти лет строили канал два с половиной года, и все, оставшиеся в живых, были освобождены...

— Да вот маловато их осталось, живых-то, — неожиданно подал голос мой папа — герой-строитель великого канала.

— Что вы сказали? — приостановил свой рассказ норилец.

— Мало, говорю, в живых-то осталось. Там, в камнях и глине, лежат... Давай, давай...

Гость помолчал, подумал, подлил в кружку чая, отглотнул.

— М-да. Словом, надо нести свой крест, тем паче крест мой не такой тяжкий, как у людей семейных, пожилых.

Первый и второй год на стройке было терпимо. Зоны общей еще

не было. Заключенные будто на выселении находились, в бескрайних холодных просторах. Обходились и с топливом — сами его запасали. Нельзя было и на питание жаловаться. Но разрасталась стройка, наплывало все больше и больше людей, тесно им становилось и в просторной тундре. Урканы, бандюги, жулье, рецидивисты начали объединяться и подминать под себя всю здешнюю жизнь, терроризировать население, которое худо-бедно сколотило городок, перекинуло из тундры к берегу самую северную железную дорогу.

Конечно же, цинга, простуда, обвалы в карьерах, метели, морозы уносили людей, но повального падежа все-таки еще не было. Да где-то и кого-то не устраивали темпы нашего строительства, и жизнь наша не устраивала, точнее — обострялась и обостряется международная обстановка, нужна наша руда, нужен металл. Руководство стройки перешло в одни руки. Один свободный человек, как император всея тундры, скотов и людей, в ней обитающих, правил всем. Человек он не простой, а золотой, достойный выкормыш тех, кто его взлелеял и воспитал по принципу: лес рубят — щепки летят!

Нормы выработки, и без того высокие, подскочили вдвое. Еда — согласно выработке. Отдых — согласно выработке. Никаких актированных дней, никаких болезней и жалоб. На работу! На работу! На работу! Кубики! Только кубики! — больше никаких разговоров. Строительство жилья было заторможено. Новая больница, уже наполовину построенная,— заброшена. В бараках народу — не продохнуть. Кашель, стоны, драки, резня, воровство и лютый конвой: при малейшем неповиновении — прикладом в зубы, за сопротивление — пуля. Отчет один: «За попытку к бегству!..»

Куда? Какое бегство? Разве можно оттуда убежать? До Дудинки — сто километров, до магистрали — две с лишним тысячи. А начальник строительства требует продукции, на каждой оперативке брякает кулаком по столу: «Нам завезли достаточно человеческого материала, но добыча руды тормозится. Доставленный на всю зиму, человеческий материал несоразмерно убывает, и если так будет продолжаться, я из вас самих, итээровцев, вохры и всяких других придурков, сделаю человеческий материал!»

Много людей пало в ту зиму. Но с весны караван за караваном тащили по Енисею вместо убывших на тот свет — свежий человеческий материал. По стране катилась волна арестов и выселений, массовых арестов врагов народа, кулацких и других вредных элементов.

Не знаю что, но что-то подсказывало: будет на нашей стройке еще хуже и тяжелее. Предчувствие меня не обмануло. Норильским рудникам поступило указание увеличить добычу руды, следовательно, расширить и строительство рудников, довести трудовой энтузиазм до наивысших пределов. «Слышите: песнь о металле льется по нашей стране! Стали, побольше бы стали! Меди, железа — вдвойне!» — взывало радио.

Император всея тундры, я уже говорил, человек не простой, а золотой. Умен, изворотлив, да ум у него дьявольский! Как бывший геолог, он хорошо знал палеонтологию, понимал, что «щепки», которые летят в его владениях и падают на землю, не гниют в вечной мерзлоте, бальзамируются, как мамонты, могут пролежать в ней века. Если их найдут потомки? Что о нем, таком знаменитом, орденоносном руководителе, станет история говорить? Ну, может, и не этот, может, более простой мотив им руководил — хоронить в мерзлоте трупы трудно, много людей отвлекается с основных работ на пустяковое дело.

И создал он похоронную команду из людей, крепких еще телом и нутром.

Ночью, а ночь у нас всю зиму подлинней, чем здесь, под Игаркой, мы грузили трупы, вытащенные из бараков, на балластные платформы, присыпали их снегом или тем же балластом и отвозили в Дудинку. Здесь перегружали на подводы и лошадьми переправляли на острова-осередыши. Простой, но иезуитский расчет: вешним разливом острова

покрываются водой, и все с них смывается, до белого песка. Населения в низовьях Енисея почти нет, то, что есть, из инородцев, переселенцев, зимовщиков, приучено ничему не удивляться, помалкивать. Просторы енисейские в низовьях так широки, так разливисты, что растащит батюшка-Енисей покойников по низинам, впадинам, по кустам и тундрам, там кого рыбы в воде иссосут, кого птицы расклюют, кого зверьки догложут.

Летом начались побеги. Первые. Пробные. Случалось их мало, и почти все бежавшие погибли в тундре, но часть, хоть и малая, к зиме переловлена была и возвращена. Беженцам добавляли пять лет и отправляли работать в мокрые забои. Однако они, эти первые, самые безумные и храбрые беглецы, рассказали, как бегали, куда бегали, и своим опытом, ошибками своими учили, как не надо бегать.

Еще зимой я задумал побег, начал к нему готовиться — и это спасло меня от помешательства. Вы помните, какая нынче была весна — длинная, нудная, рано началась — на позднее навела. То польет, то заморозит. Трупы — количество их за эту зиму неизмеримо увеличилось — смерзлись, ледяная спайка не распалась под напором воды, и когда острова объявились на свет божий — горы трупов, только уже замытые тиной, мусором, издолбленные льдинами, — остались лежать на месте.

По Дудинке и дальше — от рыбаков на катера, с катеров на пароходы, с пароходов по реке — пополз и начал распространяться ропот. Поговаривали, что вот-вот нагрянет высокая, чуть ли не правительственная комиссия.

И она в самом деле нагрянула, но к этой поре уже все трупы были изрублены топорами, издолблены ломами, кайлами, острова от них очищены. А дальше уж поработал Енисей-батюшка — залил, унес, замыл, заилил все следы преступления.

Я к той поре из похоронной команды был переведен с помощью одного знакомого зэка на пекарню — рабочим. Говорили, что несколько человек сошли с ума, но я в это как-то уж и не верю. Похоронной команде давали дополнительный паек за «вредную работу», по булке хлеба давали и осьмушке табаку. Я сам видел, как, усевшись на кучу мертвецов, отупевшие люди ели тот хлеб, курили махру и не морщились. Да и что им страдать, когда они перевидали такое, что страшнее кошмарных снов и всякого, даже самого больного воображения.

Наш ученый император хоть не довел дела до людоедства, очень нужна была стране норильская руда, и снабжение, если б его упорядочить — не давать распоряжаться продуктами уркам, вполне бы сносное было, но «бывалые люди» рассказывали, будто на Колыме, на Атке, покойников сплошь закапывали без ягодиц — ягодицы обрезались на строганину потерявшими облик человеческий заключенными.

У нас похитрее и половчее все было. Опыт Соловков, Беломорканала, Колымы, Ухты, Индигирки успешно перенимался и применялся здесь новаторски: осенью, уже по первым заморозкам, из всех бараков, санчастей, из больницы разом были вычищены все доходяги, придурки, больные, истощенные зэки — тысячи полторы набралось. Им было объявлено — они переводятся на Талнах, где условия более щадящие, нет пока рудников и шахт, строится новая зона и посильный труд там, почти без конвоя, почти на воле, осуществляется, как в первые годы здесь, в Норильске.

Их вели через тундры, по хрустящим лишайникам, сквозь спутанную проволоку карликовых берез и ползучего тальника. За ними тянулся красный след растоптанных ягод — брусники, клюквы, голубичника...

Воспитанные на доверии к человеку и вечном почитании властей, больные, выдохшиеся люди не сразу заметили, что малочисленный кон-

вой куда-то испаряется, исчезает, и когда спохватились — ни стрелков, ни собак с ними не было, и никто никогда уже не узнает, как ушли в тундру и исчезли в ней полторы тысячи человек, навсегда, бесследно.

— Какой изощренный ум, какое твердое сердце надо иметь, чтобы таким вот образом избавиться от нахлебников, не долбить зимою ямы под эти полторы тысячи будущих покойников...

— Я иногда радуюсь тому, что не стал священнослужителем. Как бы я молился богу, который насылает на нас такое? За что? Разве мы более других народов виноваты в земной смуте? Или нас бог карает за покорность, слепоту, за неразумный бунт, за братоубийство? Может, господь хочет нас наглядно истерзать и измучить, озверить, чтобы другие народы забоялись нашего безверья, нашей беспутости, разброда. Мы жертвы? Мы на заклании? Но, господь, не слишком ли велика твоя кара!..

Что-то забилось, заклокотало в груди беглого. Отвернувшись в угол, за печку, он разразился кашлем или рыданиями. Приподняв пихтовый веник, долго отхаркивался, сморкался в мусор, за печку, и, отдышавшись, перехваченным голосом просипел:

— Простите! Может быть, и не следовало при детях... Но им расти, им жить. Кто-то ж должен знать, что здесь происходило. Что мы сотворили. Как героически осваивали север. Спрячут ведь, спрячут мерзавцы свои преступления. Заметут свои следы. Замолчат. Хотя нет! Не-ет, не-э-эт! Не спрятать, не замолчать!.. Император римский, Нерон, вон в какие времена жил и творил, но дошел до нашего времени с нашлепкой «Кровавый». Кро-ва-вый! Хотя за душой его триста, что ли, погубленных душ. По сравнению с тем же начальником нашей стройки — современным императором всея тундры, Нерон этот — дошкольник, октябренок! К-ха-ка-ха!.. Позвольте мне еще табачку, дыхание...

Беглый норилец закурил, покачался возле печки. Я подбросил в нее дров. Окно уже начинало сереть от небесного света, восходящего над тайгой, но все чикали по окну капли, будто гвоздики по шляпку в стекла входили, оставляя светлые, тут же затекающие царапины на окне.

— Утомил я вас. Ложитесь-ка спать и меня спроваживайте в баньку.

— Да нет,— шевельнулся на нарах Высотин.— Какой уж тут сон?! Говори дальше. На сети нам сегодня не попасть. Ветрено.

И, как бы удостоверяясь в этом, он глянул в сырое окно, и все мы услышали, как гуднул на крыше ветер, хлестанул замокшей кориной по слеге, сыпко полоснул в стену пригоршней мелкой дроби. По-шаманьи зловеще, пространственно-жутко гудела вокруг нас тайга, соединенная с небом, набитым низкими текучими тучами. Трудно, почти невозможно было представить, что где-то в этом океане, непробудно-темном, в бездонности его и в безбрежности, прячутся маленькие одинокие люди.

Почти без надежды на волю и спасение, бредут они и бредут по ней к цели, ими намеченной.

— Мы вышли из Норильска втроем — люди все свои, телом и духом крепкие. Вышли с единой целью и надеждой — добраться до Москвы, добиться приема у Сталина или Калинина, рассказать о том произволе, какой творится на нашей новостройке. Уходили ночью по одному в глубь тундры, к тайникам, сделанным еще с зимы. Место сбора мы назначили на одном из притоков Енисея. Через несколько дней мы благополучно встретились. У нас был порядочный запас продуктов, что-то похожее на палатку, сшитую из мучных кулей и куска брезента, три топора, ножи и даже половинка пилы. Кроме того, у нас была, хоть и худо скопированная, карта тех мест. Мы должны были выйти на магистраль, и вышли бы, я думаю, да беда подстерегала нас на первом же отрезке пути.

Главной задачей нашей было пока что выйти к Енисею и продолжить путь вверх по его течению. Две с лишним тысячи километров! Мы были взрослые люди, понимали, что это такое. Догадывались — не все дойдем, но, может, хоть один дойдет. И то ладно. И то победа. Но предположить то, что стряслось с нами сразу же,— никто из нас даже в самые тяжелые минуты раздумий, даже в жутком сне не мог...

Беглый докурил цигарку, смял ее о порожек печки и задумался, глядя на огонек,— он очень любил смотреть на огонь. Привычка уже давняя, самим им не замечаемая.

— На речке мы сколотили плотик и, спокойно погрузившись, поплыли по большой воде, радуясь тому, что порядочное расстояние нам не топать по мокрой и глухой еще тундре, да и находиться будем мы в стороне от всяких патрульных и сторожевых служб.

Плыли день, погребаясь где веслами, где шестами попихиваясь, впрочем, по вздутой весенней реке нас и без того несло бойко. Но нам хотелось скорее, скорее вперед! И когда понесло нас совсем хорошо и под плотом заплескалось, забурлило, мы никакого значения тому не придали — по нашей примитивной карте, эта, почти еще неизученная местность была голой, ровной и безопасной во всех отношениях. Но к реке отклонялся один из отрогов горного хребта Путорана, о котором мы слышали, что он есть где-то, но что так далеко отклоняется — предположить не могли. Словом, на ровной этой вертлявой речке оказались пороги, и заметили мы их — люди сухопутные — уже тогда, когда сделать ничего было невозможно. Плот наш закружило, понесло в пороги. Шум и гул стояли вокруг, вода втягивалась в каменистое промежье и падала куда-то вниз. Я велел товарищам лечь, схватиться за бревна, и сам сделал то же. Но мы не удержались за бревна, плот наш развалился, рухнув по стене воды в громадный, дымящийся, белой пеной кипящий котлован. В меня ткнулось бревно, я за него уцепился, и меня закружило по этому глубокому котловану, берега которого отвесной стеной стояли над рекою. Показалось, что под скалою пробкой выпрыгнул наверх окровавленный человек, вскрикнул и исчез. Держась за бревно, я подгребся одной рукой к тому месту, но ничего там не увидел, и сам уже был плох — ледяная вода пронзала до костей.

Тут я вспомнил про бога — если он не забыл совсем про нас, грешных его рабов, пусть обернется ликом к одному из них и поможет ему. Молитва божья, судьба ли продлили мою жизнь. Меня выволокло на свет белый. Очнулся на каменном приплеске и глаза в глаза встретился с чьим-то очень пристальным взглядом. Я застонал и сел, от меня отпрыгнул песец, тощий, в клочьях линялой шерсти. Прикормились на человечине здешние зверьки. Этот нюхал и ждал, когда меня можно будет начать.

Я околел бы в ту ночь, если б один из нас не догадался залить варом, залепить древесной смолой по спичечному коробку. Мне удалось развести костер уже в потемках, и не костер — огонек из берестинок, ломаных палочек, ободранных сучьев, собранных в камешнике. Немного обогревшись, я бродил по приплеску берега и в расщелинах меж камней насобирал плавника, еще сырого, но гореть с подсушкой способного.

У костра я обмыслил свое положение, посмотрел, в чем и с чем остался — сапоги, тюремная куртка и штаны, рубаха, белье — вот такая со мной и на мне осталась одежда. Даже шапки нет. В кармане куртки пара удочек, иголка с ниткой, воткнутая в отворот карманчика, кусок полуразмокшего сухаря, горсть мокрого табаку и клок раскисшей газеты, которую я тут же принялся сушить.

Всю ночь я напряженно ждал крика, шагов по камням к костру. Мне не хотелось верить, что друзья мои погибли. Хоть один должен уцелеть. Утром я двинулся по берегу и обнаружил одного из моих товарищей по несчастью. Он лежал возле воды, с перебитыми ногами, проломленной головой и был еще теплый. В кармане его было две удоч-

ки, коробок спичек, складной ножик, иголка с ниткой, банка с табаком и кусочек размытого сахара в уголке брючного кармана. Я похоронил товарища в камнях, плотно завалил его плитами, чтобы не съели труп песцы, попросил прощенья за то, что оставил его лишь в одном белье, и еще ночь просидел возле порога, ожидая второго товарища.

За это время я соорудил из рубахи товарища мешок, из портянок сшил что-то вроде шапки, лямки к мешку приделал и, сложив в него сапоги и костюмчик покойного, который я надевал лишь к ночи, двинул сначала по берегу реки, затем на солнце, все ярче с каждым днем разгорающееся.

Вдоль реки меня не пустили идти глыбы натолканных льдов, вздувшиеся ручьи и глубокие старицы; остановило вольно сияющей, куда попало бегущей снежной водой.

Через два дня я снова вышел к той же реке, к тому же порогу. Я кружил по тундре, по редким ее островкам, однако не напугался, не приуныл — что-то уже обжитое, притягательное было для меня на этой реке, в этих бездушных камнях, да дрова здесь были, да и находки, так меня радующие, попадались. Легши на холодный камень, я глядел со скалы вниз и сначала увидел надетый на каменья дождевик, затем косяки рыб и под ними зеркально мерцающий предмет — это либо фляга со спиртом, либо котелок, столь мне необходимый. Я мог разбиться, утонуть, схваченный судорогами, но предмет этот должен был достать.

И нырнул. И достал! И что бы вы думали достал? Топор! Я так ему обрадовался, что даже расплакался и сказал себе, что с топором-то я не пропаду, но больше всемилостивейшему богу докучать не стану, буду вспоминать забытые уже молитвы и с молитвой да с божьей помощью выйду к Енисею.

Я еще раз попытался углубиться в тундру, и еще раз убедился, что весной в тундре не только прямых, но и никаких путей нет — озера, реки, речки заставляют петлять, кружиться...

Впрочем, что это я? Вы ведь лучше меня знаете заполярье. Опытный человек сидел бы там, где его настигла беда, ловил бы рыбу, сохранял силы, пережидал половодье. А я все шел, все бился, и через неделю пути увидел вдали щетинку лесов. Не хотелось верить, подумал: вижу тундровые лиственничные лесочки или останцы каменных отрогов — это значило бы, что я сильно отклонился на север и мне уж не достанет сил вернуться даже на стройку, в Норильск. На бессолой рыбе, на прошлогодних ягодах и горьком орехе кедрового стланика долго не протянешь.

Вера моя и помощь божья укрепили меня — я вышел к лесотундре, затем вошел и в загустелые леса. Да радовался-то я напрасно. Здесь уже оттаял, взнялся в воздух комар. Был он еще квелый, дымом, замоткой лица можно было от него еще спасаться. Но вот когда пригреет хорошо, что начнется? Боязно об этом даже думать.

Тем временем я уже утратил несколько крючков — щуки, совершенно не знающие страха, понимающие только, что им можно хватать кого и что угодно, их же поймать не смеет никто, разоружали меня. Я стал рыбачить просто и нагло. Поймав две-три сорожины на удочки, насаживал рыбок на жерлицу с проволочной подстраховкой — такие ловушки у нас с зимы налажены были, опускал кособоко шевелящуюся рыбку в глубь озера или речки. Тут же из засады торпедой вылетала щука, где и две, где и три, и которая проворней, цапала сорожину, мяла ее и старалась уйти в черную корягу или в кисель прошлогодней травы, на ходу заглатывая добычу. Я изо всей силы выхватывал леску — щука оказывалась на берегу, но добычу из зубов не выпускала и долго не могла понять, где она, что с нею произошло и почему она оказалась на суше. Если рыбина была не по снасти, я отгонял ее палкой. Случалось, лавливал я и карасей, и пелядку, сигов и даже в одном очень чистом озере с песчаным дном напал на стерлядок, но рыбы до того наелся, что уж не мог на нее смотреть, жевал, как траву.

Простужен я был уже сильно, начал слабеть. Но тут мне стали попадаться кедрачи, хоть и худенькие, северные, а все же кедрачи — прекрасные деревья. Под ними спать суше, теплее, лапник, орех, пусть и горький, пусть истекший, все же пища. И брусники прошлогодней в лесу больше стало попадаться.

Однажды я обнаружил умирающего оленя. Он лежал в сырой яме, в бурой, размешанной болотине. Он объел вокруг уже все кусты, мох и осоку вместе с корнями, выгрыз землю, выел ее до мерзлоты. В открытом переломе ноги оленя кишели черви и под кожей прошивали они уже ходы к склизкому, облезлому паху. Кости зверя торчали наружу, от него пахло, но, увидев меня, он забился в грязной яме, попробовал взняться и со стоном наотмашь упал обратно в грязь.

Боясь, что олень испустит дух прежде, чем я ударю его топором, зажмурил в кровь съеденные гнусом глаза и обрушился в ямину.

Я прожил возле убитого оленя несколько дней, и пожил бы еще, если б не гнус, набирающий ярость. Из шкуры оленя я вырезал себе подстилку под бок, сделал несколько теплых стелек в сапоги и главное — намочил и навырезал тонкие сыромятные ремешки, вытянул из ног животного сухожилия, чинил ими одежду, обувь, даже ладился приспособить их в качестве лески.

Конечно же, я давно уразумел, что заблудился, утерял всякие ориентиры, от тупости забывал приметы, но не хотел с этим согласиться и все надеялся — вот-вот выйду к Енисею — не миновать мне этой великой артерии, как именуют ее в школах. Но таймырская тундра, дикие леса заполярья такие великие, что даже Енисей может в них затеряться, человечишко же для таких пространств — мошка, тля, былинка.

Если бы вы — северяне — не ведали, что такое северный лес и тундра, каково в них заблудиться, я бы, может, и рассказал вам об этом. Но вы, я вижу, люди бывалые и ребятишки у вас не барчуки. Скажу только, что я не раз сожалел о том, что не погиб вместе с товарищами своими там, на пороге, полный сил и веры в будущее...

Не знаю, сколько прошло времени, какое было число, месяц, день, но уже отцвела лесотундра, отпела весна птичьими голосами, самки сидели на гнездах, линялые самцы прятались в укрепе. Я брал из-под самок яйца, пил их, если попадались насиженные, пек в огне, догнал и забил палкой несколько линялых куропанов и глухарей. Вместе с пером и внутренностями я закапывал птицу в землю под костер и сначала с ужасом, потом почти равнодушно заглядывал внутрь последнего коробка спичек. Огонь я разводил уже не каждую ночь, только в непогоду. Когда у меня останется последняя спичка, принял я решение, — разведу в последний раз огонь и лягу подле него навсегда.

Беглец прикрыл ладонью глаза, и что-то заклохтало в его горле, мы поняли, что он удерживает в себе крик или плач. Папа протянул гостю кисет. Он ощупью принял его и, закурив, молвил:

— Благодарю вас! Не приведи, господи, вам, детям...

— Может, вы еще покушаете? — перебил я гостя.

— Нет-нет, спасибо, дитя. Храни тебя, господь, не оскверни, не обозли, это худое время, милостивое сердце.

— Может, рыбы соленой?

— Нет-нет, сольцы.

Я подал беглецу берестянку с солью. Он бережно, щепотью взял соли, высыпал ее в рот и замычал от сладости и боли — солью разъедало треснутые губы, цинготно сочащиеся десны.

— Ах, как нам не хватает сердца! — воскликнул он.

Иссосав еще щепотку соли, он громко, почти клятвенно заверил нас:

— Если я доживу до лучших дней и у меня будет свой угол, я весь его завалю солью. Соль — это!.. Нет, вы не знаете, что это такое.

У вас ее много, целые бочки, вы ею сорите. Но не надо, не надо, особенно детям, чтоб они узнали это, испытали наше горе. Борони бог, как говорят тунгусы... Ах, как нам не хватает сердца! Соль добудем, хлеб посеем, но — сердце!..

М-да, простите еще раз. Светает. Не дал я вам спать. Н-но, н-но у меня давно не было и, может, не будет уже таких добрых слушателей... Не знаю, в бреду или по наитию божьему я стал чувствовать: в лесу есть еще кто-то. Ни следов, ни кострищ, ни спичечки горелой, но вот чувствую: есть кто-то поблизости — идет следом или кружит возле меня. Нет, нет, нечистой силы я уже не боялся и подумал, что это смерть моя кружит надо мною, сжимает кольца, дышит в меня гнилозубой хворью, тленом, перегорелой душной кровью, хочет избавить меня от мук. Я не то чтоб вовсе не боялся смерти, призрака ее, я еще мог почтительно относиться к жизни, нужной не для одного меня, но для моих уже погибших и погибающих в невиданно страшных застенках, на каторгах собратьев моих. Если б не это, я бы просто не встал однажды с подстилки из оленьей шкуры, лесные мыши, песцы и прочие зверушки съели бы меня вместе с клочком шкурки — и вся недолга. Но я еще сопротивлялся. С помутневшим уже разумом, до дна почти выпитый комарами, иссушенный, разбитый кашлем, в изожженной и драной одежде, я шел и шел. Сколько раз я уже видел Енисей, выходил к нему, умывался, пил воду и плакал от счастья. Но это оказывалось лишь озеро, закрытый водоем, как говорят опять же в школе.

Оглушенный комарами, мокрецом и мошкой, я старался идти ночью, когда особенно глухо и застойно в тайге, когда уж и дышать-то нечем от испарений и гнуса. Днем я находил хоть какой-нибудь обдув и падал на подстилку. Я сделался неосторожен, рассеян. Отупев от гнуса, выл в бессилии. Одиночество меня добило — я кричал что-то в небо, грозил ему кулаком.

У меня осталась одна жерлица, удочка вся в узлах, четыре спички, топор и нож. Спал я в обнимку с топором. Он сделался моим самым надежным другом и спасителем. Я даже разговаривал с ним...

И вот серой, звенящей комаром ночью я увидел в тайге мелькнувший свет и подумал, что это бред, галлюцинация, стал вслух себя уверять: то отблеск небесный, отражение звезды в воде. Но какие звезды в эту пору? Давно уже размыло ночь густыми туманами, солнце полого зависало над пологой тайгой, не закатывалось.

Сначала я побежал, потом пополз и увидел наконец экономно горящий костерок. Мягко ступая, я приблизился к огню и спрятался за деревом. Подле костра, на лапнике, тесно прижавшись друг к другу, спали двое. И первого взгляда хватило, чтоб убедиться, что это «наши». Меньше меня были они ободраны, но тоже обросли, одичали, комары над ними клубились. Каков же был я? Страшно подумать. Я кашлянул и вновь спрятался за дерево. Оба норильца тотчас вскочили, один схватился за топор, лежавший меж беглецами, второй — за самодельный ножик. Я коротко им объяснил, кто я таков и почему тут.

— Выдь на свет и остановись! — скомандовали мне и подшевелили огонь. Я вышел к костру и покорно остановился.

— Х-хо-о-оро-ош! — покачали головами незнакомцы и набросились на мой мешок.— Соль? Хлеб? Табак?..

Вытряхнув содержимое мешка, они удрученно замерли. Потом завернули в листья моху, сухого моху с чебрецом, пососали цигарки, и тот, что был тоньше, моложе, серый одеждой, волосами, лицом и глазами, устало полюбопытствовал:

— Давно блудишь?

Его и звали Серым. Страшный человек. Опытный бандит. Он много раз уходил из мест заключения. В апреле из штрафных бараков ушло трое. Так рано еще никто с нашей стройки не уходил. Рисковые ребята. Но третьего они, видать, уже потеряли. Что ж такого? Нас ведь тоже трое бежало...

Надо ли говорить, как я обрадовался людям, пусть эти люди были Серый и Шмырь, но все равно ведь люди, судьба соединила нас в бедствиях наших, скрепила жизнь побегом и тайной. Серый и Шмырь тоже заблудились. Но шли они упрямо, без колебаний по заполярной тайге, зная с уверенностью, что идут на юг и что поздно или рано выйдут на приток Енисея или к Оби, лучше бы — Енисея, к Оби идти опасно — из-за болот и топей, почти сплошных в междуречье. Енисей все же гористей и населенней, хотя бы с середины течения.

Но я поторопился радоваться — соединив нас в несчастье, судьба не сделала артельных людей сообщниками ни в мыслях, ни в устремлениях. Маленькая артель разделилась надвое — в меньшинстве, конечно же, остался я.

Когда Серый и Шмырь отдыхали, я ловил рыбу, малых бескрылых пташек, запасался корешками, травами, варил похлебку в котле, который у этой пары сохранился. Первое время мы ладили. Я уверовал, что с такими бойцами не пропаду и непременно выйду к Енисею, а там не с руки нам быть вместе. Но проходили дни, недели, мы никак не могли выпростаться из лесотундры. Совсем обносились, затощали. Давно была уже очищена от шерсти, выварена и съедена оленья шкура, мы ловили и ели леммингов, белок и даже бельчат, варили грибы — и все без соли, без соли! Рты наши скипелись от крови, пахло из нутра нашего падалью. Гнус разъедал лица, руки, шеи до того, что оголилось мясо, пошли по нему язвы. На артель осталась одна удочка и жерлица с обломанным крючком.

Теперь мы рыбачили попеременно. В то время, когда Серый и Шмырь спали, я ловил и варил рыбу, после спал я, они ловили и варили.

Но волчий закон, по которому существовали Серый и Шмырь, скоро дал себя знать — они перестали оставлять мне еду, однако еду добывать и дрова заготавливать заставляли безоговорочно. Сами понимаете, после нашей ударной стройки толковать с ними о совести и порядочности — пустая трата слов. Они были крепче меня, лучше сохранились, но я тоже не давал себе окончательно ослабиться, старался, когда связчики спят, найти хоть какое-то пропитание. Меня подстерегла еще одна большая беда — я оборвал последнюю удочку. Уснул с удочкой в руках, клюнула сорожина на короеда, тут же на нее метнулась щучина. Я проснулся от рывка, всполошился, но было уже поздно — хищница вдавливалась в глубину, разворачивала сорожину головою на ход, следом волочился обрывок фильдеперсовой лески, клубилась рыбья чешуя.

Собратья мои убили бы меня, но я сказал, что спрятал жерлицу и не покажу, где спрятал, коли они примутся меня убивать. Кроме того, у меня есть еще две иголки, из которых можно сделать крючки, да из штопора-складника, если его накалить,— уду можно загнуть, и еще я придумаю, как ловить петлями птицу и щук, нежащихся на отмели.

Этим я на какое-то время продлил себе жизнь. Но страшное слово «баран» все чаще и чаще достигало моего сознания, хотя поверить в то, что Серый и Шмырь ведут меня с собой, чтобы, когда вовсе край придет,— съесть меня, поверить не мог. Сысподтиха подбирался к связчикам, пытая, куда делся третий их спутник по прозвищу Ноздря. Серый и Шмырь уверяли меня, что, как и мои спутники, утонул он при переправе через реку, но скоро посчитали — таиться им незачем и врать не стоит, никуда я от них не денусь, рассказали, как тащили спички, одна короткая, две длинных. Короткую вынул Ноздря. Он был вечный зэк, опытный ходок, старый вор в законе, игру судьбы принял как полагается герою современности, не скиксовал, не пикал. Наставил в грудь себе ножик, навалился на него, попросив давнуть в спину. Серый помог ему, облегчил кончину.

Связчики разделали «барана» топором, мясо закоптили на огне

и продержались до прилета в тундру птиц. По насту из тундры им выйти не удалось. Поломали лыжи, съели припасы. Дальше предстояли им одна только длинная и одна только короткая палочка — спичками уже не играли, берегли их пуще глаза.

И тут-то явился я. Сам набрел — воистину баран! Безрогий, безмозглый, на заклание чертом посланный.

Однажды ночью Серый и Шмырь вернулись к огню ни с чем. Рыбу и птицу петлей ловить они не навострились, нервов не хватало, привыкли все брать на шарап. Ягоды еще не созрели, орех был с молочком, птица поднималась на крыло. Питаться в тайге сделалось нечем.

Серый и Шмырь упали возле огня обессиленные. «Ну?» — закрыв глаза, молвил Шмырь. Я понял, что это «ну» означает, не таясь начал молиться. «Ладно, поспим. Может, морок какой найдет. Видеть эту падлу не могу! Весь в парше!..» — «Опа-алим!» — «Тьфу! — плюнул Серый, — падаль хавать легче!..» — «У нас и падали нету. Сами скоро падалью сделаемся...» — «Кончай! Покуда не отбросил копыта, дотуда жив! Дави бабу-землю. Спи. Отдохнем — поработаем...»

Серый костью послабее Шмыря, но духом покрепче. Шмырь — он злобой страшен, однако смекалкой не вышел.

Я дождался, когда приутих костер, пока разоспались мои спутники, и, сказав про себя: «Господь вас прости, ребята!» — отполз от огня, вскочил — где и силы еще взялись! — бросился бежать. Помнится, я даже кричал, мнилась мне за спиной погоня. Помню, когда забежал в густой туман, обрадоваться даже не мог, упал без сил.

Солнце было уже высоко, когда я очнулся и увидел, что из тумана выпрастывается большая, широкая вода. По песчаному берегу прополз к тихой лагуне, заглянул в воду и отшатнулся: на меня из воды воспаленными, опухшими глазами глядело существо, уже мало похожее на человека.

По большой воде дул ветер, кружились чайки, стаи молодых уток делали разминки, что-то перемещалось — за пологим горизонтом что-то дымит.

«Не Енисей ли это?»

Я сомлел, пригрелся под солнцем, отдыхая от тяжкого гнуса, и скоро опять уснул. Очнулся оттого, что меня било и катало по опечку волнами. Соскочил и увидел над водой, в разъеме берегов, темный силуэт. Ничего не мог сообразить, но уже отчетливая мысль бежала, хлестала волной в меня: «Я вышел к Енисею! Я вышел к Енисею! По Енисею идет пароход!..»

Вера в чудо во мне давно истребилась, и пока я не прочел на борту новенького теплохода: «И. В. Сталин», старался не доверять своим глазам. На теплоходе пассажиры, женщины, детишки — кто-то помахал мне рукой. А я не мог помахать в ответ.

Мокрый от волн и слез, я стоял на коленях в мокром песке, кланялся, молился земле, благодарил бога за чудо, подаренное мне,— чудо жизни! И верил, в ту минуту верил, что те, на теплоходе,— очень счастливые люди, и во всей стране, во всем белом свете живут добрые, счастливые люди, мне же выпало тяжкое испытание, по чьей-то злой воле, по какому-то недоразумению. Я должен, должен, должен дойти до самого главного, самого справедливого человека, чьим именем совершенно справедливо назван этот красивый теплоход. Он выслушает, он поймет меня, он сам в этих краях бедовал в ссылке, сам бежал отсюда и всего натерпелся. Он, и только он, может и должен всех спасти, развеять тяжкую напасть на эту страну, на ее исстрадавшийся народ.

Сидя у почти затухшей печки, гость наш умолк, держа эмалированную кружку в пригоршнях. Через окошечко в избушку сочился нехотя нарождающийся свет серого, застойного дня. Беглец глянул на окошечко и, допивая из кружки остатки теплого чая, заторопился:

— Ну, что вам еще к рассказанному добавить? Серый и Шмырь следом за мной, выше меня по течению, тоже вышли к Енисею. Я скоро обнаружил их «следы» — разграбленный чум кето, выехавших на лето рыбачить, за чумом перестрелянные собаки, изнасилованная, растерзанная женщина. Самого рыбака эти два шакала, очевидно, утопили в реке, парнишку-кето посадили в лодку и оттолкнули от берега — его поймала и спасла команда буксирного парохода. В чуме беглые разжились едой, солью, одеждой. Впрочем, какая одежда у рыбаков-националов, на месяц-два откочевавших из тундры к Енисею. Взяли ружье, то самое, которым вас застращали. К ружью скорее всего уже нет зарядов, и все же хорошо, что вы не связались бороться с ними — они могли бы запереть вас в избушке и сжечь. Они «на свободе», они добрались до жилых мест и «гуляют». Будут они ходить, огибая большие станки и города, грабить, насильничать до холодов, потом сдадутся. Никакой цели и задачи у них нету. Я шел по их следам. Открыто заходил в станки. Два раза меня задерживали и отдавали в сельсоветы. Оба раза отпускали. Я не ворую, не граблю и намерений своих не скрываю. Меня отпускают с богом, и я уверен, пройду дальше, чем Серый и Шмырь. Мною движет милость. Я дойду до Москвы, чего бы мне это ни стоило. Память товарищей, страдания людей обязывают меня выполнить долг, может быть, последний и самый главный в моей жизни... Дайте, пожалуйста, еще сольцы!

Беглец в который раз пососал соли и, покачиваясь на корточках возле печки, ровно бы подумал вслух:

— И все-таки не следовало при ребятишках...

— Наши ребятишки в Игарке выросли,— отозвался Высотин и прислушался.— Дует? Дует и дует. Не дает нам погода план добрать. Сматываться надо из этой тайги. Нигде покою человеку не стало. Да и ребятишкам в школу пора...

— Да-а, наступает осень! — эхом отозвался от печи беглец.— Спешить надо, не выйду до зимы из заполярья — пропал.

— Давай, мужик, поспи маленько и уходи. Шишкари иль ягодники из Игарки объявятся — черти принесут, патруль нагрянет — нам тоже не сдобровать.

— Да-да, вы правы. Я уйду, уйду. Соли узелок попрошу и хлеба кусочек, да ножницы — дикий волос...

Папа мой сказал:

— Давай! Я умею маленько.

Беглец сел посреди избушки на табуретку, папа повязал его мешковиной и закружился вокруг клиента, защелкал ножницами, однако обычных при этом складных присказок не выдавал.

Я замел волосья в печку.

Высотин бросил в полотняный кошель узелок с солью, булку хлеба, коробок спичек, кусок сахара и со словами: «Вот... чем богаты»,— подал его гостю.

— Благодарствую! Спаси вас бог.

— Не на чем. Чё-то не очень он нас пасет. Кто знает, что завтра с нами будет?

— Не гневите, не гневите всевышнего — все под ним ходим... Не надо так. Не надо без веры жить.

— А где ее, веры-то, набраться? У тебя?

— Да и у меня хотя бы. Я ж не терял веры, даже там, на краю гибели, в тундре. Я стремлюсь к справедливости, и бог мне помогает.

— Ну, ну, стремись. А мы тут, в Игарке, такой справедливости навидались, что дальше некуда.

— Нет, нет и нет, мужики, не победить человеконенавистникам исконную доброту в людях. И сейчас не всех они и не всё сломили. Не всех, не всех. Как ни странно, среди интеллигенции, именно среди той

части самых обездоленных, которую тюремные и лагерные держиморды особенно люто ненавидят, находятся люди столь стойкие, что они потрясают своим мужеством даже самых кровожадных мясников. Подумайте сами — почти ослепший от побоев, карцеров, недоедов, старенький философ-ученый заявляет начальнику лагеря и замполиту: «Я не могу быть арестованным. Это вы вот навечно арестованы...». «Как это?» — гогочут граждане начальники. «А так вот — сейчас войдет старший по чину, и вы вскочите, руку к пустой голове приложите, а я как сидел на табуретке, так и буду сидеть, продолжая думать то, чего не успел додумать прежде, — о человечестве и о вас буду думать, поскольку есть вы несчастное, заблудшее отродье и нечем вам думать, лишены вы думательного инструмента...»

— Н-на, гладко ты баешь, а мужика-то, крестьянина, они охомутали, извели.

— И все равно доброта и терпение разоружат, изведут злодейство.

— Больно ты разоружил-то Шмыря и Серого.

— Да-а, тут правда ваша. Этих никаким, даже божьим словом не проймешь. Это уже продукт новой эпохи.

— Да завсегда они были и будут. И между прочим, тоже отца-мать имели и имеют, верующих, деревенских, может, и пролетарьев — но масть-то идет одна.

— Не дай бог, не дай бог, мужики, если Серый и Шмырь да их сотворители начнут миром править.

— Конечно, конечно, не дай и не приведи господи.

— Ну, значит, с богом! И вали дальше. Вроде утихат. Нам на сети скоро.

В полдень мы выплыли на сети. Хромого в бане уже не было. Спустившись к лодке, мы увидели его, резко припадающего на правую ногу, километрах в двух от избушки. Он шел в направлении станка Полой, правился вверх по реке, к свободе, к заступнику всех обиженных и угнетенных, и далеко, ох, как далеко и долго ему было еще идти, добираться до тех мест, где обреталась справедливость. Иней таял, струя над берегом дымку, и скоро хромой заподпрыгивал на сверкающем приплеске, по которому катились козырьки слабеющих волн. Вот он отделился от приплеска, залетал, закружился в синеватой дымке... и — воспарил.

...Его взяли спящего в деревне Кубеково, под самым Красноярском, и вернули обратно, добавив пять лет сроку. Он убегал еще не раз и в один из побегов обморозил ступни обеих ног. Его вылечили и назначили на штрафные работы — в балластный карьер. Убежать из заполярья больше он не мог, да и бежать из Норильска с каждым годом становилось все труднее. Город обретал современное индустриальное советское лицо, лагеря, зоны, проволока, охранительные службы с будками, стрелками отделялись от города, укреплялись, вооружались. Строгие конторы в удобных домах, с теплым отоплением, с электроосвещением, с политотделами и подотделами возведены в центре города — все это ладилось, селилось, плодилось прочно и надолго, энкэвэдэшники твердо верили — навечно.

Конвоир Зубило, «из бывших», водивший на работу штрафную бригаду, развлекался тем, что пелажного подростка заставлял прыгать с отвесной стены карьера и тут же подниматься обратно. Откос карьера плыл, подросток отчаянно гребся руками, ногами, карабкался, не подаваясь с места.

Нахохотавшись до колик в боках, веселый конвоир бросил подростку конец веревки, помог ему подняться. Но не успел истязаемый сказать: «Спасибо, гражданин начальник», — как тот его снова столкнул

вниз и, клацая затвором, веселился: «А ну наверх! А ну, доходило, резво, резво!..»

«Прекрати!» — сказал конвоиру седой, раскоряченно ступающий на обе ноги штрафник по прозванию Хромой.

Бешено белея глазами, конвоир передернул затвор, двинулся на Хромого, но выстрелить не успел. Мелькнула в воздухе кувалда, и на свежо сереющую кучу гравия вывалилась горстка еще более серого ошметья, напоминающая отцеженную опару: из укоротившегося тела конвоира выбуривалась кровь, военные штаны потемнели в промежности. Овчарка — верный друг и помощник Зубилы — взлаяла, протяжно заскулила, сорвалась в карьер и через минуту уже чесала в просторную тундру.

Хромой сказал: «Спасибо, братья»,— поднял винтовку Зубилы, тремя выстрелами вызвал начальника караула и, не подпустив его близко, прокричал: «Бригада никакого отношения к убийству конвоира не имеет. Я убил его!»

Сделав резкий поворот, Хромой с винтовкой в руках кувыркнулся в карьер.

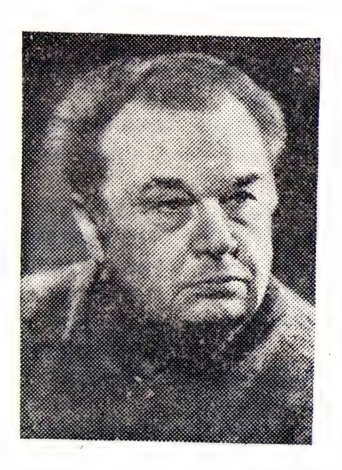
Начальник караула и запыхавшиеся стрелки подбежали к обрыву карьера и услышали: «Да здравствует товарищ Сталин!» — и следом хрясткий от мороза, одинокий, без эха, выстрел.

1964 — 1990 гг.





ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ



А СВЕТ РОССИИ – В МАЛЫХ ГОРОДАХ

* * *

Святая, долгожданная услада, —
обвал речей и половодье слов...
России выговориться нынче надо
до мук, до потрясения основ

и разобраться ей в большом
и малом,
запрятанное вывести на свет...
И стали города читальным залом,
грома гремят от шелеста газет.

Но горько под родными небесами
мне оттого, что некий пустоцвет
бренчит, как бы в мониста,
словесами...
А Слово — колокол побед и бед.

...Глянь — травы наливаются в июне
животворящим соком, не слезой,
и здесь не лжемессии на трибуне
нужны России, а косарь с косой.

Коси, косарь! А то полягут травы,
и вновь останемся без молока.
Один не спит — от эйфории славы,
другой не спит — страда-то коротка!

Аплодисменты то мощней,
то жиже...
Как истину от лжи отшелушить?
Ты глянь!—вития, он уже в Париже
в кофейне рассуждает, как нам
жить.

А как нам жить, — не глиняные
боги,
не шустрых выдвиженцев пылкий
строй
определят, а сам народ высокий,
и, может, прежде всех косарь
с косой.

Он чужд витийства и чиновной лени,
лжецы его не заарканят в плен...
Мы можем пасть, но нет —
не на колени,
мы можем встать, но только
не с колен!

* * *

Как нацию раздеть духовно догола?
Лишить ее богатств, чем нация
жила:
церквей, особняков, крестов
над отчим прахом,
старославянских книг и именинных
дней,
и повязать сердца бездумным
страхом,
перед властителями всех мастей.
А свет России — в малых городах
с их земляными древними валами,
с красивыми исконными словами,
с цветущими вишневыми садами...
А свет России — в малых городах,
что возле рек, на ветряных холмах...
Но жалки эти города сегодня,
Бреду по битым улочкам с тоской,—
бушуют страсти нищих, —
не Господни.
Вот магазин с мороженой треской,
и очередь петляет — аж за угол...
Разрушенные маковки церквей
чернеют в небе наподобье пугал.
В музей две-три картины свезены,
комод да стол из рухляди имений...
Ах, как удушлив полумрак
забвений!
В столицу едет иноземный люд,
в столице форс начальнички блюдут,
мол, не ударим в грязь
перед Европой!
А тут глубинка,
масла нет — так нет!
Безденежен и мрачен райсовет.
Свисти в кулак, брат, да по лужам
хлюпай!
Уразумеем ли в конце концов,
что каждый град явился из веков,
запечатлев, как в летописной книге,
и проводы воителей на брань,
и чьей-то музы в утреннюю рань
звук дерзкий и талантливо-великий?
Твердим, твердим, что, дескать,
мы сыны
Истории, России — ах, как просто!..
Разорены родительские гнезда
без жалости, без смысла, без вины.

Валентину Распутину

Ты помнишь: незадолго до полета
на родину из Вены в страшный час
взрывчатку заложил у входа кто-то,
и с пламенем она разорвалась?

Мы замерли среди разбитых стекол,
среди солдат и плачущих детей,
и вымытый от крови скользкий
цоколь
казался сценой дьявольских
страстей.

И под евангелическое пенье
монахинь, что-то мыслящих свое,
впервые мы террора проявленье
там ощутили, как небытие.

И позже в креслах, в самолетном
чреве,
летели мы в небесном далеке,
скорей в печали, нежели во гневе,
скорей в раздумье, нежели в тоске.

Террор, он беспощаден,
многоликий,
он напрочь поразит исподтишка
живую плоть, страницы честной
книги,
дух гения, рожденный на века.

И разве то, что под церковным
сводом
крушил оклады бешеный топор,
не есть проявленный особым родом
противу русской нации террор?

И разве шайка жить нам не мешала,
затягивая петлю все мертвей
на шеях несравненного Байкала
и лебединой Ладоги моей?

И разве то, что в классику отныне
под белы руки серость введена, —
не суть террор? И по такой причине
моя душа смириться не вольна.

И разве?.. Разве?..
Все не перечислим,
не перечислим, да запомним мы,
чтоб мощь придать непокоренным
мыслям,
чтоб до духовной не дойти сумы.

* * *

Не издавали Карамзина
и Соловьева...
Эта вина еще не вина, —
жило их Слово.

Но разорение по стране
в классовом раже
кладбищ России —
видится мне
гибелью нашей.

Сбиты кресты
с царскосельских могил,
сдвинуты плиты —
так офицеров Октябрь осудил
из царской свиты.

А что полковник
зарублен в Чечне, —
плевое дело!
Классовый принцип
компáса точней:
бело — бéло.

И над героями Бородина,
и над орлами
Плевны
поруха-разруха одна,
мусор слоями.

Словно не мы победили в боях,
перед пашою,
словно Россия склонялась во прах,
дрогнув душою.

Кладбища — каменные письмена —
размолотили,
дабы вовеки не знала страна
тех, кто в могиле.

В лагерь уже не затащишь гробá
тех, кто в мундирах...
Пусть же валяются их черепа
в ямах-сортирах!

И на кладбищах карающий меч,
всыпав повинным,
начал невинные головы сечь
махом единым.

✦✦✦

Памяти генерала В. Д. Кренке

Виктор Данилович Кренке,
славной войны генерал;
Виктор Данилович Кренке
Шипку оборонял.

Таяла 26-я...
Турки катились, как вал...
Но, впереди вырастая,
вел смельчаков генерал.

Жил и сражался по чести,
трижды на дню умирал...
К старости — в тихом уезде,
в Тихвинском, жизнь коротал.

Нынче его деревеньки
нет и в помине... Погост,
где опочил храбрый Кренке,
жилистым лесом порос.

Зыбко припомнив заслуги,
камень с могильной земли
чьи-то незлобные руки
к тракту перенесли.

Возле — сельпо, где торговля
водкою разрешена...
Жаль, что не память сыновья
манит сюда дотемна.

Горько мне, что спозаранку
вижу на камне седом
опустошенную склянку,
хлебные корки с сырком,

что не гвардейскою ротой
в праздник почтен генерал,
а бессловесной икотой
тех, кто уже перебрал.

...Таяла 26-я...
Турки катились, как вал...
Но впереди, вырастая,
вел смельчаков генерал.

Встал у дороги я, с краю...
Шипки мерещится стынь...
Горько слова я роняю:
— Сколько ж нам жить без святыни!

ПОЭЗИЯ



ОЛЕГ КОЧЕТКОВ



НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Крикнешь — а кто отзовется!
Ветер, цветы, облака.
Как из глухого колодца,
Воля твоя улыбнется —
Призрачна и далека.
Теплая пыль под ногами,
Ласточки над головой.
Длится и длится веками
Над золотыми полями
Звонкий их росчерк живой.
Что им до наших прозрений,
До биотоков в мозгу.
Весь человеческий гений,
Может, не стоит мгновений
Жизни в их смертном кругу...

Посещение России эмигрантом «третьей волны»

Топнул ногою — пушистая пыль
Шаг его обволокла...
Поле без края, дремотный ковыль,
Над головой — облака.

Топнул сильнее — и каблуком
Вмятину сделал в земле!
Вытер вспотевшую шею платком,
Капли смахнул на челе!

Ну а потом изо всех своих сил —
Топнул! Как будто втоптал
Эту... которую не выносил
С детства, и — ногу сломал!

КОЧЕТКОВ Олег Владимирович родился в 1947 году в городе Коломна Московской области. Учился в вечерней школе, работал токарем, слесарем-сборщиком на тепловозостроительном заводе. Служил в армии. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Выпустил книги стихотворений «Время настало», «Травяная дорога», «Родное лицо», «Надеждою ранят», «Покатилась подкова». Член Союза писателей СССР.

Забытье

Веселый дым над кровлей тихой.
Подсолнуха веселый лик,
И поле радостной гречихи,
И на завалинке — старик,
И осокорь через дорогу,
И ряскою покрытый пруд.
До перестройки — как до бога!
Она и не витала тут.

Ей дай масштабы, перспективы,
А здесь — ветшалость, забытье...
Но почему-то так красиво
И так естественно здесь все!
Как будто чем-то незабвенным
Повеяло — не сохранить!
Кому-то ж надо неизменным
Из этой жизни уходить!

Простор Отечества

Теченье свежих облаков
Над головой моею бренной.
А под ногами — пыль веков
В непревращенности нетленной!
И радость ржи, и окоем,
В лазурном мареве дрожащий,
И в горле — сладковатый ком...
О воздух родины пьянящий!
Простор Отечества, над ним

Поветрий столько прокатилось
С перемещением крутым,
Что кажется, вся твердь
сместилась!
А он в раздумии своем
По-прежнему щемяще-горек.
Хоть целый смысл проявлен в нем —
Всех гласностей и перестроек!

✦✦✦

Истина

Реяло знамя, звало и... погасло.
Сразу померкла ближайшая даль.
Все в суете и безверье погрязло,
Рубль засиял, потускнела мораль.
Истово дремлющий ветер гордыни
Зашевелился по всем площадям...
Только духовные наши святыни
Светом немеркнущим тянутся к нам!
Ближе, и пристальней, и непременней,
Нас поднимая до смысла судеб
Связей земных и родных поколений,
Истину нам поднося, словно хлеб.
Ну, а она — в сопричастности вечной
С тем, кто за гранью любых облаков,
Реет над этой планетой увечной,
Ныне и присно, во веки веков!

* * *

Да, за веру они и царя
Свои буйные честно сложили!
И погибли, наверное, зря.
Но Отечество крепко любили!
За него-то и встали тогда,
Ни к чему нам сегодня лукавить!
Отшумели такие года —
Все равно ничего не поправить!
А ведь были — один к одному.
Корпус Пажеский, канты, погоны,
И таких расстреляли в Крыму,
Безоружных загнав в эшелоны!

Руки за спину, камень к ногам,
Да с обрыва — в морские объятья!
Так и надо им всем «белякам»!
Вот и все тебе сестры и братья!
Осуждать никого не берусь,
И ни тех и ни этих, пожалуй.
Только кто растворит мою грусть,
Хотя срок уже канул немалый?
Так случилось. Вини — не вини...
Лишь одним свою душу спасаю:
Что я дрался б в те черные дни,
А на чьей стороне, и не знаю!

Ночь екатеринбургского чекиста

С ливера да с маргарина —
О мировой революции бредни...
Ну а в сознанье запала картина —
День Государя последний:
Вопли истошные нервной царицы,
Сам, как над свечкой — иконка!
Да разметавшие косы девицы,
Да ясноглазый мальчонка.
Как наводил все, вскидывал в шоке
Свой револьвер разряженный.
— Что им — Юровский
да Голощекин
Шая? А он-то — крещенный...
...Глаз не сомкнуть...
приподнялся в постели:
— Кто там стоит за дверями?
Душу всю выскреб—клопы одолели,
Вон уж и кровь — под ногтями...

Белый камень

Начхал со своей колокольни на бога,
И камнем церковным заставил подводу.
Ждала его даль и крутая дорога,
В которой впервые узрел он свободу,
Он выстроил дом белокаменный, чинный,
Внутри и снаружи — повесил плакаты
И, клубом назвав, стал крутить в нем картины,
Про «жизнь» и «любовь» за веселую плату.
Когда все стихало, брал в руки метелку,
Окурки, плевки, шелуху выметая,
О чем-то все чаще он думал подолгу,
В себе и вокруг что-то не понимая...
И в ночь выходил, чуя тьму своей кожей,
Такой одинокий пред всею вселенной,
Стоял возле клуба и думал все то же —
О том, что вот был бы он сердцем моложе —
Подъехал с подводой, ведь камень отменный!
И выстроил снова, но — что же?.. Но что же?

Ступени

У наклоненного к полю крыльца
Мхом зарастали ступени.
«Хоть бы послал бог какого
жильца» —
Так они годы скрипели.
«Снова почуять бы тяжесть шагов,
Радуясь бодрому стуку!»
Жил тут один, да и тот —
был таков,
В городе вышел в науку.
И не вернуться ему, не прильнуть
К этому старому скрипу.
Дышит во всю он ученую грудь,
Вон — на статей своих кипу!
Раз испытали средь северных льдов
Цикл его изобретений.
За полвосторга до адских ветров,
Вспыхнув, сгорели ступени!

Тщета

Лишь в похмельном бреду
да в предании —
Косы русые, плат расписной.
Нестерпимая горечь желания
Несодеянной жизни, иной.

Пустыри и помойки Отечества,
Неустроенность — застят глаза.
А терпенья — на все человечество!
И гнетет бесприютства стезя.

Атмосфера чадящая, смутная,
Дни растерянных судеб и грез.
Впрочем, эта тщета абсолютная
Сто́ит всей нашей крови и слез...

✦✦✦

Не заречемся

Несвобода порывов заветных,
Бередящих собою нутро,—
Суть явлений сегодняшних, бедных,
Где все новое — прочно старо!
А пространство щемит, ожидая
В растревоженности вековой
Не иллюзию светлого рая,
А хоть сколь-нибудь жизни
людской!

Свежий ветер не в силах развеять
Стылый сумрак родных пустырей.
Остается одно только — верить
В нерастраченность наших кровей!
Что опять на себя обопремся
Средь угара сплошной кутерьмы.
Но и выстояв, не заречемся,
Как и встарь,— от сумы,
от тюрьмы!

Родословная

Я ладонь положил на равнину,
И сквозь кожу пошел смутный гул...
Долго слушал я песню едину,
Пока в пряной траве не заснул.
А заснул, так приснилось такое —
Чему имени нет и конца.
Раздвигал я пространство рукою
До забытого ветром крыльца.
А на нем не князья да бароны
И другая дворянская знать —
Черный ворон бьет долу поклоны,
А вокруг — никого не видать!
И напрасно рука раздвигала
Пред собою пространства кольцо,
Лишь одно, лишь одно выпадало —
Только поле и только крыльцо!
Хоть лица б ускользающий высвет,
Хоть бы голос неясный, глухой!
Пусть унизит меня, не возвысит,
Только б знать: кто, откуда, какой?
Лишь крыльцо да широкое поле,
Вот и все, остальное — темно.
Нет на свете возвышенней доли —
Знать, что большего знать—не дано!
Я лежал средь притихшей полыни,
Окуная лицо в облака.
И лежала рука на равнине.
И на сердце — лежала рука!





АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

33

С этим и вошёл Дмитриев в большой механический цех, где под верхней фермой ещё добалтывался, ещё долго покачивался отцепленный поднятый крановый крюк. Тут должен был Дмитриев разговаривать со старшим инженером, отвечать на поклоны мастеров, всё рассеянно,— сам же напряжённо смотрел на сборы.

На этих рабочих, по отдельности как будто доступных любому простому разговору. А когда при смене вываливает их во двор сразу пятьсот-шестьсот — чёрных, слитных, загадочных, чужих,— не успеваешь вспомнить, что можно с каждым говорить и работать, но почему-то потупляются сами глаза, отводятся, и бессильно признаёшь неизбежное: то вы, а то мы.

Неизгладимо проведена эта черта и как научиться переходить её, не замечая, или хотя бы им не давая заметить?

Так и сейчас: когда они в массе переходили, садились, вспрыгивали на плиты, на гладкие выступы своих станков, а в центральном проходе поперёк вагонеточного пути ставили скамьи для пришедших из других цехов,— в этом новом объёме и качестве они были не испытаны, страшноваты. Много чугуна, стали, железа в тяжёлых массах покоились и передвигались в этом цеху и по всему Обуховскому заводу, но на то были неотклонные, раз навсегда одинаковые формулы механики, известные приёмы, ухватки, краны. А эти двести-двести пятьдесят собираемых вместе живых рассыпных мягко-телесных людей превращались в массу неведомую, с формулами неизвестными. Это уже — не инженерство было. Зря говорят про политических деятелей, что они болтуны, это — большое напряжение.

И прав Евдоким Иваныч: рабочие только и мыслимы в массе, только к этому и надо быть готовым. Одинокий крестьянин умеет двести дел, обнимает собой и своей семьёй — двести ремёсел, и наиболее полон, когда он один. Одинокий рабочий — ничто, будь он искуснейший слесарь, как Евдоким: в каждой работе ему отведено всего лишь

Продолжение. Начало в №№ 1—7 за 1990 год.

одно дело или даже одна часть одного дела, а полнота — лишь когда собирается их двести.

А вахмистр — пришёл, конечно. Широколицый, с большой значительностью осанки, как будто знает тут больше всех. И, ни с кем не заговаривая, сел на табурет сбоку оратора, чуть позади.

Портил он весь вид. Лицо Дмитриева портил перед рабочими.

Мастера группкой.

Комаров темнокожий, небритый, в сторонке. Уступал начало.

Кто в чём работал, в тёмных косоворотках навыпуск без поясов, или в куртках, или в старых пиджаках,— рассаживались теперь. И только кепки, при работе у всех на головах,— теперь, хоть и в том же цеху, по обычаю, без команды, без приглашения — а снимали. Кто-то снял, остальные за ним, и вот уже — все до единого. И куда её? Брали на колени. Вертели в руках.

И этими снятыми кепками, да ещё сдержанностью разговора, почти молчанием, показывали, что — понимают особенность этого собрания.

А снявши кепки, открыли свои головы — редко стриженные наголо, по-солдатски, редко и пролысевшие, как бывает от изнеженности, а — дружно густоволосые, неиссякаемая ещё природа. Да подстриженные кто как, и домашними ножницами, чтобы не тратиться на парикмахера.

Нет, они не благоденствовали. Утруждённые, озабоченные, прихмуренные лица. Не угоняется заработок за скачкою цен — что им эти сверхурочные, только силы терять? По-своему, они правильно отказывались от сверхурочных.

Но лишь по-своему, свою овчинку стянув на груди, свою нахлобучивши кепку, пока под острым невским ветром добежишь до своей квартиры.

Уже начавши речь про себя, ещё не начав её вслух, Дмитриев пропустил собственно начало. Он стоял — выпрямленный, приготовленный, весь — в глазах, раскрытых на рабочих, и в поколачивающей груди, и уже ждали, смотрели на него, а он пропустил посоветоваться и подумать: самое-то первое — как же? собранных вместе двести — как их называть? *Товарищи?* Нет, подыгрывание, пошло, да при жандарме и закрыто, он не хотел революционного тона. *Господа?* Кур смешить. Велик-велик русский язык, а повернуться негде, если б не:

— Братцы! Некоторые из вас...— покосился, где *свои* сидели, кучкою стянувшись. Малоземов маленький заслонён был, не видно, а светила, возвышалась строгая лысая тыква созонтовой головы,— ...знают, что у нас отделан опытный образец траншейной пушки, и теперь она пускается в серию. Сейчас как раз подошли дни, иные станки и даже мастерские надо перевести на неё целиком. И вот я... просил администрацию... и представителя Рабочей группы... созвать вас, кому придётся участвовать, чтобы...— Разве нужно какое «чтобы»? разве не «делай, что говорят»?.. — ...чтоб объяснить вам, что́ это за пушка и к чему.

Насторожились — лохматые, челюстные, исподлобные, простодушные, прищуренные, все почти безбородые, с усами редко, а то гололицы, щёки сжатые, губы недоверчивые: с чего б — *объяснять*? Какую-нть дохлую собаку подса́вывают, стерегись.

И правда, каким же будешь в этих петербургских камнях? Через камень не подсачивается к тебе из земли ни сила, ни свежесть, ни верный совет. А в уши толкут, толкут... Елисеевская ночь...

Но слышал Дмитриев сам свой голос и был доволен — звонко выносил, твёрдо:

— Надо вам понять, что в этой войне многое пошло, как ждать-не ждала ни одна армия. Вот и артиллерия. С тех пор, как её изобрели, она существовала как бы отдельно: стояла — отдельно, стреляла — издали, с пехотой не смешивалась. Но современный бой так густ и быстроизменчив, что артиллерии быть от пехоты далеко и отдельно — нельзя. Например, пулемёты так внезапно возникают и исчезают, в такие короткие минуты надо справиться с ними, что артиллерийский

наблюдатель, даже если он в гуще пехоты, не успевает по рвущимся проводам сообщить на свою глубинную батарею, и пристреляться, и накрыть.

Не сложно говорил? Кажется, нет. Появлялся интерес на лицах. Почему не послушать? За слушанье шкуры не снимают.

— Такая у нас и есть трёхдюймовая полевая пушка, вы знаете. Пушка прекрасная, настильный огонь вот так, — рукой показал, — хорош-шо поражает. Так что одна батарея может в несколько минут уничтожить батальон пехоты в сомкнутом строю или полк кавалерии.

(*Хорошо поражает!..*)

— Но именно из-за этой настильности ей приходится умолкать, когда наша пехота сойдётся с противником ближе саженей полутораста: чтоб не попадать по своим. Именно из-за настильности и не поставишь её близко и не будешь стрелять через головы своей пехоты. И получается, что в самый тяжёлый опасный момент, когда наша пехота расстреливается пулемётами врага, она лишена поддержки своей артиллерии.

А что? Кажется забирает: слитно, молча, всё серьёзней смотрят на инженера. Да кого ж это может не забрать? Завтра это может стать твоя судьба, любого из вас, из нас... Третий год они работают на войну, третий год висит над ними как кара — воинский начальник, маршевая рота, пошлют в окопы, — а что они о той войне знают? как пушки их, выпущенные отсюда, потом стоят, перекатываются, стреляют?

— Или так ещё, острей и опасней: когда наша пехота с жертвами, усилиями, прорвёт неприятельскую позицию и ворвётся в его траншеи, в этот момент, когда всё расстроено и перемешано, все не на своих местах, не все и при своих командирах, а уж о телефонной связи и говорить нечего, — в этот момент пехота лишается и артиллерийской поддержки: и связи нет, и дым, и пыль, издали не видно, всё перепуталось — кто ж решится открывать огонь? И получается: за победу, за успех, за понесенные потери наша пехота попадает в особенно беззащитное состояние, и ничего не стоит из победы опрокинуть её назад и много побить.

А главное, горячилось и билось в груди, что, кажется, черту мучительную стеснения он переходить начал, и как-то незаметно, и даже уверенно — при осветившихся одном, другом, пятом, седьмом лице. Да ничего ты у них не украл, ни в чём не виноват, зачем же тебе глаза тупить?

И — всё больше глаз на нём. И — интерес, и — пристальность. И стрижка домашняя трогательная. А т а м-то, братцы, там наголо бреют, и с головою вместе.

— Так вот и выяснилось, уже в боях, ценой крови, что нужна артиллерия сопровождения, которая бы следовала как можно ближе к своей пехоте и открывала бы огонь при всех обстоятельствах, тотчас же — и видя всё своими глазами! А этого как добиться? Для этого наша трёхдюймовая пушка — не приспособлена. Весит она в походном положении больше ста двадцати пудов. Это значит — если дорога крепкая и гладкая, то тянут шесть лошадей. А чуть хуже — впадина, топко или пахано — надо подпрягать до восьми, а то до десяти, и номерам ещё толкать. А на поле боя какая ж дорога? Самая наихудшая. И лошадей этих не наберёшься, и их перееранят вмиг. Одним словом: если артиллерии следовать за своей пехотой в бою, то не на лошадях.

Отлично слушали. Из-за плеч вытягивались, кому худо видно. Кто рот пораззявил, кто охмурился, кто осунулся. Но все понимали, принимали, сопротивления или насмешки не ощущал Дмитриев, и уже мог поддержку черпать не только в своей группке, а — почти в любом лице. И откуда берётся у них эта злость, эти крики и взмахи при уличных столкновениях, как пять дней назад на Большом Сампсоньевском? Не шибко лица развиты, да, помертвей, поодинаковей крестьянских, — но лица наших же черт, но внятные русскому слову, но открытые для

тёплой речи. Каким же презрением или чёрствостью надо их так отчуждить?

— А значит артиллерия должна стать ещё легче и мельче. Разборней. Артиллерия должна стать такая, чтоб не ехала, а *шла* с пехотой плечо к плечу и выполняла бы её заказы — в ту же минуту. Пушка должна стать такая, чтоб люди прыгали с ней как козы и лезли бы в те же самые траншеи, что и пехота. То есть *траншейная пушка,* или окопная. Вот такая самая, как мы и сделали сейчас, наша группа мастеров.

Заулыбались. Не *свои*, эти строго, наоборот, эти всё давно понимают, — заулыбались те остальные двести. Оттого что привели их к простому ясному концу. Оттого что: мы — вот какие на нашем заводе, чтó умеем.

— Наша пушка такая именно: разборная. В походном положении — семь пудов. Втроём всегда перетащишь, верно? А в узком месте и вдвоём перехватить?

Как будто — спрашивал инженер. И сочувственно, но и негромко, загудели, забурчали, заоборачивались: втроём? вдвоём?

— А лафетик ещё отдельно четыре пуда, это уж на двоих, хоть и бегом. А снаряд — фунт с четвертью, по карманам можно совать. И такая пушка даёт 8 выстрелов в минуту!

— А далеко бьёт? — осмелился мастеровой из самых тут молодой, повеселевший, безумышленный.

— Да можно — на три версты! — сразу ему Дмитриев.

Заудивлялись, гулок пошёл.

— Но — не нужно. Чаще будет бить на триста саженей, как глазу видно. А заметил её немец — разобрали, согнулись, перетащили, хоть и по дну окопа.

Одобряли пушку. Весёлый гулок расширился, отвердел.

Уж разогнался Дмитриев объяснять и дальше: чем эта пушка отличается от бомбомётов, от миномётов. И что есть уже мелкокалиберная траншейная артиллерия и у немцев, и у французов, отстали мы одни... Но почувствовал, что — лишнее и даже отвлечёт, ещё неизвестно, задор ли вызовет, что у н а с одних нет? или горечь — отчего же м ы такие?..

Он запнулся и на другом, чего не предвидел, ещё не зная успеха: а как они будут решение принимать? Ведь не голосовать же, наверно? Или голосовать? Массой рабочих, где и лучший мастеровой не единоличен, а зависит от остальных, — как вообще всегда принимается?

Да это — Комаров должен знать. Первый раз он оглянулся на Комарова. Тот — ничего, благоприятно слушал, и не уклонялся, что доволен, беспартийно, по-человечески. Он тоже ведь об этой пушке толком не понимал, вот первый раз.

И — на жандарма Дмитриев оглянулся, лучше б не оборачивался, своими глазами не казал бы его забывшим слушателям. Вахмистр, всё тот же гладкий, рассказом не возмущённый, но и не тронутый, на сборище смотрел, не ожидая добра.

А мы уже вот и заодно:

— Так вот, эта пушка, братцы, опаздывает на фронт, уже давно б ей там быть, с минувшей весны. А мы успеем ли — к следующей весне? Много их надо, просто сотни! И только наш Обуховский будет выпускать.

Однако добродушному рассказу есть предел, как и вере добродушной. И с чистым сердцем не всё по-чистому можно вываливать. Честно бы до конца: а *почему* задержались? А к прошлой весне, а к лету — почему ж не успели? А потому что, потому что... очень долго держали и пересматривали эти чертежи в высоких инстанциях, дремали и брюзжали над ними старые развалины-генералы, одной ногой в отставке, а всё не уходят, расстаться с креслом жаль. Дремали над ними, кто сам никак не угрожаем был отправиться в те траншеи и не сочувствен к

серой нашей скотинке, сидящей там. Это *они* потеряли почти полный год. А вы, братцы...

— А нам, братцы, надо сейчас эти пушки проворно выпускать, чтоб ни одна станочная линия не отдыхала...

А впрочем, что ж *вы*, братцы? вы все — учётные, и тоже не многие угрожаемы отправиться *туда*...

— Я вот в августе вернулся с Двины. Испытывали мы эту пушку. Солдаты просто нарадоваться не могли: с ней-то — жить можно! скорей бы! поторопите там, в Питере! Вы подумайте, эта пушка — сколько жизней спасёт, наших русских солдат, наших братьев!

И — голосом полным, и — в лица, в лица:

— А вы... А вы на днях приняли решение отказаться от сверхурочных. Там, на Двине, если б сейчас рассказать, что мол питерские мастеровые время меряют... после смены гнушаются остаться, и пушек не будет...

Он — верил! Он — там, в двинских окопах, сейчас побывал, и там сказал это, и вместе с *теми* задрожал от обиды:

— Весь завод как хочет, но вас, братцы, я... прошу... Мы просим... Вот, и Рабочая группа... Облегчить их кровь.

Хотя просил — но уже твёрдо просил, убедясь в их поддержке, в простодушном сердечном сочувствии.

— Нашим мастерским, отобранным здесь, надо стать на круглосуточную, и по воскресеньям тоже. Сверхурочные разделить между сменами.

В нетерпеливых мыслях он уже разводил их по рабочим местам, уже зная, кому что придётся делать, уже видя, как завтра с утра...

Сопротивления — нет, не было. Но заминка — была. Но весёлость та привяла, а — покашивались друг на друга, поглядывали. На Комарова. На жандарма.

Да, верно, никто ж из них не был отделен, сам по себе, как же им принять решение? Траншейная пушка — да, хороша, понятна, и братцы с радостью, но — кто-то сильный первый должен выявить их волю, и сразу все согласятся.

А Комаров — что-то медлил, не чувствовал себя тем первым главным, кого-то глазами искал.

И вдруг из-за всех спин, из-за металлической опорной колонны кто-то невидимый, но полногласно, прячась — но властно, резко, дерзко, насмешливо, даже по-петушиному закричал:

— А кто начинал — тот пусть кровь и облегчает! А нам — Рига не нужна, пущай её немцы заберут!!

Не ожидал! Не ожидал Дмитриев! Это был тот самый крик, о котором Евдоким... Надо сейчас же — в ответ! ещё громче! находчиво! — а что? Так глупо — пусть немцы?.. А он изо всех сил им рассказал... И что ж тут отвечать?..

Не успел. Не нашёлся. Да и миг даётся только один. Растерялся.

А жандарм — тот сразу вскочил пружинно и с цыпочек — глядь! И быстро-быстро пошёл туда.

А там — свои спины рядом. Ищи-свищи!

Только хуже сделал.

Двести же пятьдесят сидели и молчали. Головы опустя.

34

Вечерняя смена уже вся была в заводе, дневная вышла и вся растеклась: прошли те короткие десять минут, когда залито чёрными людьми расширение Шлиссельбургского проспекта перед заводом гуще любой демонстрации или гулянья. В таких-то скоплениях всё и случается, но не случилось ничего. Одни ушли к заводскому двухэтажному рабочему посёлку, другие растеклись по переулкам; кому не далее Стек-

лянного городка, пошли по проспекту пешком; кто набил паровичок, все три вагона, внутри и снаружи, и ещё другие остались ждать на остановке. Площадь перед заводом, ярко-светлая от многих электрических фонарей, расчистилась. И открылся — трёхцветный флаг над заводскими воротами (день вступления на престол). Городовой на перекрестке. Медленно проходящий проспектом полицейский патруль (нарядили патрули после волнений). Запоздавший ломовой с перегруженным возом, и лошадь его при кнуте только кивающая, но не прибавляющая шагу. Свет в окнах и часто открываемая дверь жаховской портерной, по-нашему пивной. Закрытые косыми болтами ставни и двери мясной лавки и булочной. По ту сторону проспекта — ещё и церковная паперть, где, судя по огням притвора, шла вечерня. А по сю сторону — аптека. И маленький, прилепленный к длинному заводскому забору домок больничной кассы.

Вечер стоял всё такой же предзимний — с мелкой морозгою, почти не заметной против фонарей, с лёгким снежным налётом на нетронутых местах мостовой.

В домик больничной кассы на виду у постового и патруля — заходили, и не только заводские, какая-то барышня вошла в приталенной шубке, в каких не ходят на дальней Невской стороне, но это всё проверять уже не полиции было дело, им не поручено, пусть занимаются если кому надо. Знала и полиция, и заводская администрация, что в больничных и страховых кассах, заведенных за два года до войны, постоянно копошится что-нибудь незаконное, затёсываются туда посторонние,— но именно к кассам политичнее считалось не придираться. Да после того, что бурлило в начале недели на Выборгской, городовому и спокойней было самому не соваться и неприятностей не наживать: стоишь, не трогают, и стой.

А в больничной кассе, кроме сеней, всего-то и было две комнаты, и в первой, правда, считали на счётах, заполняли ведомости больничных пособий, увечных пенсий (хотя и между ними служащие раскладывали и переписывали рукописные ходячие листки). Зато служащие второй комнаты ничуть не удивились, что вот пришёл Машистов, свой заводской, простой рабочий, а не простой, известный связями и делами, и кивнул служащим — выйти. Значило: будет тут разговор, *явка*. Двое служащих прихватили бумажки, ручки, чернильницу, промокательную колыбалку и перешли в первую комнату. А сюда сразу же вошли строгий молодой человек в драповом песочном пальто и толстом тёплом рыжем кэпи и та барышня в шубке дорогого сукна, но по-простому покрытая оренбургским платком.

— Привет, товарищ Вадим! — встретил молодого человека сорокалетний Машистов с прямоугольным неподвижным лицом.

Молодой человек снял мокроватое кэпи на картонную бумагу, застилавшую главный стол, пожал руку Машистову и познакомил:

— А это — товарищ Мария. Иногда будет вместо меня. Запоминайте.

Не так-то строго было на обуховской проходной, когда нужно было — проникал «товарищ Вадим» и туда, и где-нибудь в каморке собирали человек и по двадцать, но сегодня не требовалось, и зря не мелькать-не дразнить, назначили тут. Да не главная ли польза больничных касс и была не та жалкая подачка, какую они кидали рабочим,— бесплатные там лекарства, лечение, две трети заработка при болезни или несчастном случае, а именно вот эта легальная возможность собираться под крышей, проводить агитацию, организацию и конспирацию без помех? С каждым годом такие возможности ширились: учреждались ещё рабочие кооперативы, заводские столовые, всё новые и новые удобные места явок, встреч, передач и просто устного убеждения. Несмотря на войну, с каждым годом работать становилось всё легче, всё ближе к тому, как вспоминали старшие (не сам Вадим, ему только 22), как это было в революционные годы. Выжили и в мутный Четырнадцатый

год, когда одурели все от шовинистического смрада, когда, рассказывают, при простых рабочих нельзя было и заикнуться против этой войны, листовок в руки не брали, и писать их уже отчаялись, и свою партийную принадлежность скрывали даже от соседа по станку — могли избить. Уж хуже того времени не придёт никогда.

— А остальные? — спросил товарищ Вадим, не снимая пальто, лишь вытянул с горла шарф бурый с красными клетками, положил на главный стол. Пригладил рукой свои светло-серые с прорыжью шерстяные упругие волосы, даже кэпи не примятые, опять в пружине. И сел за стол. Вопреки своей молодости, он манерами вызывал безусловное уважение.

— Сейчас должны.— Машистов подавал слова крепкой челюстью, размеренно, неспешно, значительно.— Уксила немного задержится.

Уксила задержится, Макарова тоже не было, но вошёл Ефим Дахин, резкий в движениях и как будто сильно нахмуренный, а нахмурен он не был, но так получалось от глубокого запáда его малых глаз.

— Привет, Вадим! — отрывисто, грубовато здоровался он. Темно посмотрел на девушку, но познакомили — поздоровался, как и с мужчинами, за руку.— Привет, товарищ Мария!

— Здравствуйте! — каждому говорила Мария, почтительно подавая руку, с приклоном, от полноты теплоты в голосе негромко. Она не снимала, но расстегнула шубку на груди, откинула на спину мокрый платок, показалась чёрная косоворотка с яркими студенческими пуговицами. И как ни строго ровным зачёсом назад были убраны её тёмно-русые волосы, и как ни строго, далеко от того, вели себя мужчины, нельзя было не заметить — красавица!

А Дахин вошёл не один и тут же показал:

— А это — гордость нашего механического цеха Акиндин Кокушкин!

Стоял за ним парень с шапкою в руках перед собой, сразу видно — не партийный, не опытный, раззявистый, со лба отлогого волосы откинуты как ни попадя — на уши, на затылок, куда нагладились, лицо худощавое, ещё безволосое, и рот приоткрыт — от радости.

— Ну-ка, Кеша, расскажи, как ты инженера отбрил! — мрачно любовался им Дахин.

— Да что...? Чего?.. Так вот... — ещё радостней заулыбался Кеша, открывая вихляво растущие зубы. А рассказывать — не мог, не умел такого.

— В общем,— взялся Дахин сам, глухо-хриплым голосом,— Комаров-лакей вместе с жандармом и заводоуправлением собрали нас на свой молебен. Во имя червового туза и золотого мешка. И сунулся инженер к сердцу самому добираться. Чтоб мы по ночам, по воскресеньям ещё новую пушку им делали...

Машистов знал уже, Вадим внимательно отнёсся, а Мария — распахнула, распахнула ресницы, открыла тёмно-карий взор, изумляясь и этой наглости инженера и этой смелости отпора.

— А мой голос все знают, так я Кешу научил: стань вот тут, за столбом, да крикни посильней, что́ тебе скажу, а я тебя прикрою.

А Кеша сейчас — и голоса того лишился, голоса дерзкого петушиного, и только улыбался кривозубо, видя, как все, и баричи захожие, им довольны.

У Вадима — да, была какая-то породистость, для представления — хорошо, а например для драки плохо: кожа — белая, тонкая, не то что рукавицей, а ладошкою в кровь сотрёшь, белая, но не гладкая, а с пупырышками розовыми на сковыр.

— Хорошо. Очень хорошо,— сказал он и улыбнулся Акиндину.— Спасибо, товарищ Кокушкин.

Подумал — привстал, и пожал руку Акиндину через стол.

Тогда и Мария тоже встала, подошла — и пожала руку Кеше. Да

бережно как пожала, или нежно как — зашлось кешино сердце, голова закружилась. Барышня такая ему и издали не снилась, не то что прикоснуться.

Воротилась Мария, села. И Машистов опустился в стул медленным прочным движением. И Акиндин так понял, что и ему — сесть, да комната и тесна была на пятерых, чтоб расхаживать тут. И он — сел у ближнего же стола, перед собой на стол шапку положил. И улыбался.

И только Дахин один стоял. Хмурясь.

Вадим посмотрел на того, на другого. И замешательство заметил и оценил, что всё правильно.

— Молодец, товарищ Кокушкин,— сказал он чётко, ясно, закруглённо, как награждая каждым словом.— И всегда следуйте своему рабочему чутью, оно не обманет.

— Он и слесарь у нас не плохой,— добавил Машистов.

— Оно не обманет. Подойдёт к вам сборщик на помощь раненым, или там семействам убитых, или беженцам — что вы ответите?

Может — и знал Акиндин, может и нашёлся бы ответить тому сборщику,— а сейчас? В нужное попасть не мог, да вымолвить ничего не мог, на барышню дивную косясь.

— Что вам подсказывает чутьё?

Не стянув губ, не покрыв зубов, смотрел Акиндин на бледного важного барича зачарованно.

Но Вадим и не ждал ответа. Неторопливо, сам себя слушая, а ясными глазами глядя на Кешу, объяснял:

— Надо ответить: а разве правительство спрашивало нас, когда затевало войну? Разве это мы виноваты, что оказались вдовы, сироты, калеки, беженцы? Вот кто́ затевал, кто их оставил такими, тот пусть и платит. Да разве морю народного бедствия можно помочь скудными рабочими грошами?.. А подойдут к вам собирать на политических жертв, на сосланных, на венки или на семьи — вот это наш сбор, тут кроме нас, рабочих, никто.

Ни радостного, ни похвального уже ничего не было в этих словах, но Акиндин так и застыл, полуулыбаясь.

А Мария, не по молодости степенная, сидела с тем спокойствием несуетливой красоты, какое бывает в русских женских лицах. Слушала Вадима, не пророня, и переводила на Кешу, проверяя, и благожелательно на остальных.

— Вот на этот крючок патриотизма и ловят нас. У кого сердца молотом не откованные.

Образ! Мария не упустила его тёмными распахнутыми глазами. Как это верно и метко! Вот сидел через стол от неё Машистов. Не только лицо его как будто вышло из-под того молота — не у́же к челюсти, не шире ко лбу, с твёрдыми неподвижными глазами, но и вся его ощутимая душевная железность — не от того ли откованного сердца?

А Вадим, не скупясь, продолжал и для одного Кеши, ибо остальным это уж слишком азбучно было:

— Надо открывать себе глаза, товарищ Кокушкин, что наш враг — не в далёкой где-то стране, за границей, а тут, у нас, рядом. До каких же пор будем поддаваться, что русский солдат — наш брат, ему нужно пушку скорей, а немецкий солдат, немецкий рабочий — что ж, нам не брат? Или не всё равно для пролетариата, кто его эксплуатирует — русский капиталист или немецкий? Кто вас слишком назойливо призывает спасать отечество, тому отвечайте старым обуховским лозунгом Девятьсот Первого года, вашим же лозунгом. Знаете, помните?

Где там Кеша, юнец, кажется и другие не знали, не читали. Но Вадим знал, хотя и не обуховец, и теперь уж для всех:

— *Наше отечество — там, где хлеб.*

Так, так, моргал Акиндин. Очень был согласен, польщён. Уходить — не собирался.

А Дахин стоял над ним, сердитый. Так и не сел.

Достаточно было сказано, но потому ль, что остальные не подошли, товарищ Вадим, белым носовым платком отерши углы рта, продолжил и ещё, так же ясно, гладко и без форсировки голоса:

— Нам —умирать, а им — только пир, им эта война хоть десять лет иди. Вам — бумажные деньги, а воротилы расхищают народное золото. Вот, например, что вы сейчас едите? Ведь нечего.

— Щи, картошку, — вспомнил Кеша.— Рыбу.

— А щи — без мяса?

— Когда и мясные.

— Вот. Да хлеб ржаной, ситного вы не купите. На этой еде разве по силам пушки отливать?.. А что фабриканты кушают? Вы представляете?

Нет, этого Акиндин не представлял никак. Да и другие тоже. Там какие-нибудь рябчики, плавающие в сметане, неописуемые, на земле не бывающие.

— Рубаха, — осмелел Акиндин, — раньше три четвертака и сносу нет. А сейчас как бы не три целковых. — Ещё оживился. — За угол я платил два рубля, а нынче хозяйка восемь требует.

— Вот. Вот. А ещё хотят объявить вас бесправным стадом, с завода на завод не перейти. А ещё хотят вас в маршевые роты и на фронт...

Но уже за спиной Акиндина вошёл и стал длинный белый деревянный Уксила.

И хмурый Дахин сказал нетерпеливо:

— Ладно, Кеша, ты теперь иди.

Кеша опомнился, вскочил, взял шапку, радостно поклонился, поклонился — своим, чужим, никто больше руки ему не жал, — пошёл.

Вот теперь Дахин сел. Резко.

Товарищ Вадим улыбнулся:

— Никогда не нервничайте, товарищ Дахин. Никогда не жалейте времени на агитацию, она всегда себя оправдает. Да вот вы и правильно поступили. Вы Кокушкина ведь не готовили постепенно? Сразу, да?

Имел в виду Вадим существующие разные методы вербовки и развития рабочих, прежде чем допустить такого в партийный круг: наблюдать за ним у станка, изучать его настроение в якобы случайных разговорах, давать задания сперва неответственные, вроде денежных сборов, потом — листовки переносить из мастерской в мастерскую.

— Вот, перешагнули смело — и оборонческую паутину порвали, и человека проверили. И привели его сюда, тоже правильно.

Дахин не терял своей хмурости — не выкатить было ему глаз из ямок, и губ не помягчил, — а в чём-то всё-таки видно было, что похвалой доволен.

Как слушали Вадима — заметила Мария. Насколько он был моложе всех, и какое признаваемое превосходство речи, ума, опыта.

Однако теперь остались только свои, партийные (очевидно, и Мария такая, раз он её привёл), — и все стали строже и сдвинулись ближе к делу.

— Товарищи, — сказал Вадим новым свежим тоном, не плавно-разъяснительным, как Кеше. — Я сейчас — с прямым поручением от ПК.

Пэ-Ка!! Это прозвучало!

— Петербургский Комитет очень обижается на обуховцев — как вы могли 17-го—18-го не поддержать Выборгскую сторону? Пальцем не пошевелили.

Только вздохнули в ответ. Машистов — тяжелей других. Машистов — заводской *организатор.* Главная тяжесть упрёка — ему. Пошевельнул прямоугольной челюстью:

— Что можем, делаем. Отказались от сверхурочных. Сейчас два цеха бастуют. За полторы получки.

— Тогда почему не все? — строго спросил Вадим. — Вот и смотрят в ПК на Невскую сторону, что мы ликвидаторам передаёмся.

— Ну уж! — вырвалось у Дахина зло. Глаза его иглили из углубин.

Вадим развёл белыми крупными мягкими пальцами (он не стыдился своих нерабочих рук, они нарабатывали лучше):

— А как же? А 9-го января? Весь рабочий Питер бастовал, одна Невская работала. Чем мы отговаривались? Что не пришли нас «снять», позвать? Вот и говорят, что за Невской заставой — не боевые тенденции.

Верно, усмехнулся долговязый Уксила, согнутый над конторским столом. Стыдно, давно видно — не боевые.

А руки их всех — трудовые, честные, крепкие, жилистые, привыкшие к хватке инструмента — были видны, лежали на столах, вцепились в спинку стула, — и она была допущена в этот круг! Вероника не верила себе: сегодня впервые вот так запросто, как равная, сидела с этими железными людьми, с этими верными сердцами, ещё стыдясь и несменённой своей шубки, в какой прилично пойти в Александринку, а здесь только конспирацию нарушаешь, и своих обильных волос, как выставленных для любования, и совсем уж нежных рук. За гордость, за счастье быть принятой равно этими людьми и оказаться полезной им — она клялась отречься, уже отрекалась и уходила от своей прежней пустой жизни, от бесплодной болтовни.

Отрекалась — и не совсем внимательно слышала, о чём тут говорили сейчас.

— Это — влияние Александровского завода, — вдумчиво сказал Машистов. Вдумчивость исходила от его уставленных, почти не шевелящихся глаз. — Они омещанились, домки себе устроили, коровок держат — и наши за ними тянутся.

— Сейчас к праздникам готовятся, вот в церковь повалят! — отрубисто выбросил Дахин.

— Что ещё за праздники? — удивился Вадим.

— Казанская. Потом — всех скор-бящих! — выбросил Дахин. — Престол у них.

— Ну придумают же попы — «всех скорбящих»! — изумился, развеселился Вадим. — Вот ловкие, прямо в цель! Только всех скорбящих надо на восстание поднимать, а не боженьке поклоны...

— Очень пассивные наши стали, — с сильным финским акцентом сказал Уксила. — Боятся маршевой роты. На кооперативы надеются.

Самому Уксиле, как финну, маршевая рота не грозила ни при каком случае. Воинской повинности на них нет.

— На кооперативы! — усмехнулся Вадим большими нежными розовыми губами. Накормят вас кооперативы... Гвоздёвский Столовый центр... Вы-то хоть, вот в ы — понимаете, что вся эта возня с кооперацией и столовыми — только усиление эксплуатации, чтоб из вас же и вытянуть больше?

Да понятно, тупились рабочие вожаки, очередной обман.

— Вы плетётесь за думскими меньшевиками, за Чхеидзе, марксистскообразным лакеем Гучкова-Пуришкевича,— и даже он революционнее вас.

Молчали. Темнота.

— В общем, товарищи, было заседание ПК. И мне дали инструкцию к Обуховскому. Главная установка нашей пропаганды теперь берётся — на неравномерность потребления, на дороговизну, нехватку продуктов. И в этом направлении надо настойчиво использовать недовольство и возмущение масс. А вы — всю кампанию по дороговизне прохлопали.

Молчали, нечего ответить.

— Но не поздно и сейчас.

Из внутреннего кармана пальто достал несколько бумаг, сложенных вместе, вчетверо. Развернул.

— Во-первых, надо будет сколотить короткий митинг, принять вот такую резолюцию. Вот — проект типовой резолюции, разработанной ПК для собраний рабочих о продовольственном кризисе... Мы, рабочие... такого-то завода, вписать какого... обсудив вопрос о продовольственном кризисе... — Бойко, бегло читал, но слова не мешались, не цеплялись. — Первое, что он есть неизбежное следствие непрекращающейся империалистической бойни, второе, что в России он осложняется господством царской монархии, отдавшей хозяйство страны на произвол хищников капитала, третье, что дальнейшее продолжение войны влечёт за собой голод, нищету, вырождение народных масс, четвёртое, что кооперативы, вот как раз рабочие столовые, повышение заработной платы и тому подобные полумеры лишь выделяют рабочих в особые условия снабжения, натравливают остальное население на рабочий класс и разделяют силы революции, пятое, что единственным средством против голода является решительная борьба против самой войны. Итак, всему рабочему классу и всей демократии надо подниматься на революционную борьбу и на гражданскую войну под лозунгом «долой войну»!!

И это была — только малая часть его способностей, что он так быстро мог прочесть, охватить, объяснить материал. Уже теперь знала Вероника, что её руководитель в новой жизни почти с той же быстротою и — писал! «Товарищ Вадим» — Матвей Рысс, состоял в литературной коллегии ПК. Он был — специалист по листовкам. Он садился и почти за час уже начисто мог горячим убедительным слогом призвать массы или выйти на улицу («бросайте душные своды тюрем труда!»), или напротив — не выходить («не дайте прежде времени пролить на питерские мостовые свою драгоценную рабочую кровь!»), попеременно обратить гнев то на «романовскую шайку потомственных кровопийц», то на «акул отечественной промышленности», то на «безнадёжную мещанскую тупость социалистов-ликвидаторов». Можно признать, что в этих устоявшихся выражениях не хватало литературного вкуса, но какой напор! — он захватывал лёгкие. Да не сам Матвей придумывал эти выражения, они уже существовали и соответствовали аудитории и задачам действия, умение же Матвея состояло в том, что он сотни их помнил, и они свободно перемещались в его памяти, при нужде выныривали, при нужде тонули, — и вдруг зацеплялись и эффектно подавались под перо те именно, самые нужные, «колесницы милитаризма» или «коммивояжёры шовинизма», «коронованные убийцы» или «измученные невзгодами братья», которые должны были окружить и укрепить последние требования и призывы ПК.

Да что ПК!

— Есть указания и от БЦК! — всё суровей, всё значительней объявлял Вадим.

Как БЦК? Повернулись все, Машистов резче обычного:

— Бюро ЦК? Так его ж нет.

— На днях восстановлено, — загадочно сказал им Вадим. И ещё загадочней: — На днях вернулся из-за границы товарищ Беленин.

Вот это *из-за границы вернулся* — поражало воображение. Все фронты в снарядных разрывах, воронках, проволоках, все границы в кордонах, беспаспортный гонимый подпольщик — как он переносится, по воздуху, что ли? вчера в Швейцарии, сегодня в Петербурге,— что за богатыри?

— Беленин? Это кто? — не удержался переспросить невыдержанный Дахин.

Не знал он, кто такой «Беленин»? Косо усмехнулся длинный Уксила, ещё застылее смотрел Машистов, сожалительно облизнул губы Вадим, и даже Веронике, самой не знавшей, кто такой Беленин, стало неловко за неприличие дахинского переспроса.

И Дахин ещё глубже забрал свои глаза в притемнённые глазницы.

— Так вот, БЦК указывает, — ровно продолжал Вадим. — Всеми силами бороться против гвоздёвцев. Последовательно и по широкому фронту саботировать всё военное производство. Понятно?

Вполне. Да ведь кое-что и делаем.

— Но предупреждение: помнить, что наша главная сила — стачка. Квалифицированных рабочих не хватает, на фронт не пошлют, и можно требовать многое. Бастовать, устраивать митинги, принимать резкие резолюции, но ни в коем случае не дать себя вызвать на преждевременную бойню! Если придётся выйти на улицу, то всяких столкновений избегать. Время не пришло. Последний штурм будет тогда, когда мы установим полный союз с армией. Тоже понятно?

Как же далеко, как далеко ушло то время, вспоминала Вероника, тот июль Четырнадцатого, когда студенты на Невском пели патриотические гимны, стояли на коленях перед Зимним, и курсистки-бестужевки радовались: война — освежающая буря! Когда сидящие даже в трамваях снимали шляпы, если по улице манифестация пела «Боже, царя храни». И как же всё повернулось — когда? — что ни взятие Эрзерума, ни брусиловское наступление уже никого не выгонишь праздновать на улицу. И вот, серьёзно, как о самом близком: время последнего штурма! И вовсе открыто: не надо нам ваших пушек, война вашей войне!!

Вот это ощущение верной силы — силы растущей, знающей себя — покорило и привлекло сюда девушку, перетопляло её счастьем присоединиться. Она удивлялась сама себе прежней: как слепо и долго не могла выйти на верную дорогу.

— И ещё последнее. Постановлением БЦК, 26-го, в день открытия суда над революционными матросами, — провести всеобщую петербургскую однодневную стачку. Стачку протеста против этого суда.

— Это — какими же матросами? — не обжёгся, не унялся Дахин, всё ему знать.

— Революционными, сказали! — оборвал его Уксила.

А Машистов, хотя тоже не знал про матросов, но смотрел так преданно-твёрдо, будто всю жизнь только об этих матросах и сокрушался, уже наболело у него с этими матросами.

— С матросами вот какими, — объяснил однако Вадим. — Прошлой осенью они вели пропаганду среди судовых команд. Там... из-за пищи, из-за немецких офицерских фамилий, неважно. Но вызвали волнения на «Гангуте» и на «Рюрике», и мы их рассматриваем как революционных. Продержали их по тюрьмам, теперь готовят расправу. Да вы завтра листовки получите, вот товарищ Мария привезёт, для чего я её и привёл.

Мария покраснела, все посмотрели на неё.

— А в листовке, если хотите, вот... — Вадим охотно развернул и бегло читал с написанного выдержки, так читал, как бежит кенгуру или заяц — прыжками, только чуть касаясь кое-где, чуть унося на лапах крошки земли: — ...За то, что они в душных казармах сохранили ясность революционного сознания... не захотели быть бессловесным орудием в руках... Правительство бессильно посадить на скамью подсудимых миллионные кадры рабочих, но его презренные суды всегда к услугам... В знак союза революционного народа с революционной армией мы — останавливаем заводы и фабрики! Пусть дрогнет рука палача перед протестом народа! Долой смертную казнь!

Долой смертную казнь!.. Мечта Толстого! Мечта лучших сердец! И сколько лет блужданий потратила бестужевка в «мирах искусств», пока достигла этих людей и задохнулась от их широты!

Тонкая нежная кожа Матвея разрозовелась. Но не всё подряд читать. Сложил бумажки, оглядел зорко каждого из товарищей:

— Но одновременно это будет стачка и против ареста солдат 181-го полка. И — против дороговизны. И участием в этой стачке вы смоете свой позор за предыдущее бездействие. Готовьтесь. Потянете?

Должны были потянуть. Уксила встал в свой длинный рост. И Машистов поднялся, поднимая параллелепипед головы.

Уговаривались по мелочам, одевались.

Буро-красным шарфом Матвей обмотал горло, надевал теперь кэпи.

И Вероника натянула оренбургский платок, пряча холёные волосы свои и хоть немного опрощаясь. Жали руки все всем, и ей пожали трое. Она касалась этих честных рабочих труженых рук почтительно-благоговейно, а ей пожали крепко, железно, больно — и радостно.

Доверяли ей. Посвящали её.

Боже, как хотелось ей оказаться хоть немного полезной и достойной этих людей и этого благородного движения: кончать войну! Кончать все войны на земле, раз и навсегда! И все смертные казни! Никого не угнетать! Всех — освободить от покорения!

Вышли из домика больничной кассы — на виду у постового, где-то и патруль, и Матвей для безвинного вида взял девушку под руку, и так пошли они, пошли медленно по Шлиссельбургскому.

И хотя знала Вероника, что Матвей взял её лишь для виду, что столько заботы к ней нет у него, — а шла, как если бы всё взаправду.

— Я тебе так благодарна, что ты меня привёл. Что ты мне это поручаешь. Ты увидишь, я буду очень подходящая.

Матвей молчал, о своём думал.

Приятный был полузимний вечерок. Мелкие холодные не снежинки, но и не капельки, садились на лоб, на щёки. Фонари, фонари уводили по длинному проспекту, без тротуаров, с одной мостовой. Лежал обрывок газеты — один, другой. Запущено, вряд ли так раньше. Малолюдно было. Лавки все заперты, в переулках темно. Проехал в город новенький американский грузовик, посторонились, Вероника отбежала, шубку сберегая от обшлёпа, невольно. Да и Матвей подался.

А за двадцать длинных кварталов впереди них этот город, полгода тёмный, весь в камне, однако такой приспособленный для вечернего света, для развлечений, балов, театров, рысаков, поездок на острова, такой налаженный город блаженства для немногих,— в этот вечерний час только начинал жить своей главной жизнью, и юные гвардейцы на лихачах, вставши в рост для стати и перчатками по плечу возницы стегающие для скорости, гнали на свои назначенные удовольствия, ничего решительно знать не желая об этих рабочих окраинах, об этих стачках, уже ударявших и которые вот ударят.

И самой Веронике надо было садиться на паровичок, потом на трамвай, пересечь весь этот праздный нарядный город, его мосты, и в дальний край Васильевского острова, в конец Николаевской набережной, на 21-ю линию.

Но — не хотелось ей так быстро уезжать. А Матвей жил у отца-адвоката на Старо-Невском, но снимал комнату и здесь, близ бехтеревской клиники, скоро налево, недалеко от своего Психоневрологического института. Сейчас институт их бурлил, отнимали у них автономию, — и Матвей должен был быть близко, на месте.

И когда, миновав возможную опасность полицейского пригляда, он отнял руку, не вёл её больше, она посмотрела на него сбоку, на его смелое, уверенное, энергичное лицо, и робко сама подвернула руку в облитой перчатке под его локоть. А чтоб это не выглядело кисейным слюнтяйством, сразу и спросила:

— Матвей. Скажи...

Раньше-то всего хотелось ей спросить — кто такой Беленин (кличка, конечно)?

Но — нельзя было так спрашивать и напарываться, чтоб он на это указал. В конспирации не должно быть никаких пустых любопытств или действий. И эта замкнутость партийной тайны и собственная неуклонная твёрдость Матвея сливались для Вероники в одну единую мужественность. Эта партия — не шутила, не болтала, лясы не

точила, и так сильно отличалась от того расслабленного, бездейственного окружения, где Вероника прозябала до сих пор.

— Ска-жи... Я всё-таки вот не понимаю...

— Да? — рассеянно спросил он, глядя вперёд.

Вероника и хотела стать поскорее цельной, как все они, но всё же возникали, двоились сомнения, и она — спрашивала, Матвей и поощрял — спрашивай.

— Вот этот лозунг — превратить нынешнюю войну в гражданскую. — Она называла грозные исторические явления, а голос её был такой мягкий, домашний.— А это не может, наоборот, затянуть продовольственный кризис? Я вот думаю: если война уже на третьем году грозит народу вырождением — так что же будет, если она продлится, хоть и гражданская?

— Что ты, что ты! — прислушался и просто рассмеялся Матвей.— Как только мы сшибём это грабительское правительство и всяких негодяев Гучковых-Рябушинских, как только установится демократическая республика — сразу не станет этих хвостов, этой дороговизны, все продукты сразу появятся.

— Откуда же?

— Да их полно. Их в Питере сейчас — полно. Их только прячут— купцы, промышленники, ожидая сорвать на них сверхприбыли. Вот мы идём мимо этого длинного забора, не перескочишь. А — что за ним? Какой-то склад, наверно, и очень может быть, что в этом складе полно провизии, товаров, и только добраться надо. Не-ет,— усмехался он её неверию.— Весь продовольственный кризис — от игры спроса и предложения, от спекуляции. А установить завтра социалистическое распределение — и сразу всем хватит, ещё и с избытком. Голод прекратится на второй день революции. Всё появится — и сахар, и мясо, и белый хлеб, и молоко. Народ всё возьмёт в свои руки — и запасы, и хозяйство, будет планомерно регулировать, и наступит даже изобилие. Да с каким энтузиазмом будут всё производить! Можно больше сказать: разрешение продовольственного кризиса и *невозможно* без социализма, потому что только тогда общественное производство станет служить не обогащению отдельных людей, а интересам всего человечества!

Вероника не смотрела себе под ноги. Она уже и второй рукой держалась за локоть Матвея и заглядывалась на его увлечённое выражение. Она любила, когда он мечтал о будущем, это даже не мечта была — дрожь пробирала от яркости уже воплощаемых картин. От силы этого человека.

Когда-нибудь познакомить их с братом Сашей, вот если переведётся в Петербург. Они сразу должны сойтись. Так и видела: они просто похожи! Не наружностью совсем, но чем-то другим, бóльшим!

— Да и это только говорится — «гражданская война». А между кем — и кем? Целому единому трудящемуся народу — долго ли может противостоять кучка эксплуататоров? Месяц-два? Да если ещё и по всей Европе пролетариат сразу же будет брать власть — и протянет нам руку? А германский пролетариат — это какая силища!

— И война с Германией прекратится?

— Так именно! именно! Как только будет создан социалистический строй, так сразу все войны кончатся. Две социалистические страны между собой — неужели могут воевать? Ну как ты себе это представляешь?

Действительно, нелепо.

— Социалистическое государство уже никто воевать не заставит! Войны затевают правители, а не народы. Кончится капиталистический строй — и кончатся людские страдания.

Как хорошо, Боже! И как хорошо, что не постыдилась доспросить, и теперь сама так стройно видишь всё.

А между тем:

— Вон остановка, иди. Значит, завтра заедешь ко мне за листовками — когда?

А ему налево поворачивать, по Четвёртому Кругу.

— Я тебя провожу,— попросила она, изгибая спину.

Пошли по этой ломаной тёмной улице, к парку туда.

Промолчали немного. Вдруг Матвей остановился. Перенял её за спину одной рукой и стал целовать. То ни взгляда, ни движенья к этому не было, а вот — часто, жадно, наминая ей губы губами, запрокидывая голову ей назад.

И платок её сбился, свалился на спину.

Но не было ей ни холодно, ни изогнуто, ни колко.

Счастливо.

* * *

Разрушим дряхлую деспотию Николая Второго, сметём с земли русской всю погань дворянскую и поповскую — и кончится насилие, и прекратятся войны навсегда. На арену, залитую кровью, уже вышли передовые отряды Интернационала. Не медлите, товарищи! Бойтесь придти слишком поздно. Да здравствует Федеративная Республика Европы!

(РСДРП)

* * *

35

Деревенское уличное прозвище редко такое пришлёпают, чтоб не обидное было, чтоб сам бы ты себе не хотел покраше. В том и прозвище — клюнуть тебя побольней: и нас по больному ожгли всех, ну и тебя же! От малы́х твоих лет, парень ли ты, девка, приметчиво и нещадно следит за тобой улица, глядит через окошки, хроманул ты аль из рук что вывалилось, слышит через заборы — заскулил аль замолил; не опустят тебя и в поле, на работе, в дороге ли извозной, ось ли твоя не мазана, лошадь не кормлена — вот ты уже и Шастрик, вот ты уже и Кырка. А уже бабы к бабам приглядчивы вдесятеро, уж и дёжку ты не так накрыла, и отымалку не туда кинула, у прялки не так села — вот ты уже Сувалка или Трумуса, нерасторопна или суетыга зряшная, не знаешь, что хуже. Кинет прозвище кто как приметит, кинет — и либо тут же оно опадёт сухим ошмётком, либо подхватится, подхватится уличным ветром и влепит тебе в самую щеку, ажнык хоть сгори. У садомни́, у малышей — прозвища у всех, но они почти не переходят во взрость. А уж взрослой девке влепится — и внуков с тем будешь качать, парню влепится — и в дедах таким же проходишь, смотри — и потомкам передашь: по Рюме так и пойдут все Рюмины, по Сате — Сатичи, вперекор и с фамилией. Фамилия твоя — для волости, для писаря, для воинского начальника, для земского фельдшера. Фамилия затёрта от прапрадедов и прадедов, и лишь то указывается, чьих ты, от кого. А тебя самого по-правдошнему выскаливает для своих деревенских — только прозвище. За один какой-то миг твой нескладистый, за одну какую-то промашку — так и врежется тебе на весь век.

Верно говорят: на час ума не станет — навек дураком прослывёшь.

Так же и помещиков. Назвали вот Цирманта — «заплатанный помещик», и хоть ты теперь хоромами расхлеснись, тройки в серебро убери — всё едино будешь «заплатанный», ко князьям Волхонским не мостись.

Есть в этой выхватке, есть. Обапол — никого не назовут. Высмотрено — значит в тебе это сидит. И везуч на деревне, кому прозвище кинут не вовсе обидное: Мосол — знать добычной (но — с урывом, с рычаньем), Калдаш — знать крепкий (а — и со спотыкой, и колодистый).

Елисея же Благодарёва назвали в Каменке — Стёбень. И никаким призвуком не было то обидно.

Появился он в Каменке уже взрослым мужиком, за тридцать лет,

перед турецкой войной, и женился на Домаше Ополовниковой, призяченным вошёл в дом. Местность его родная была позадь Байкала, хоть и там его прадеды не извеку жили. Как-то ж прозывали его и там, но того прозвища он сюда с собой не перенёс, никому не высказал, как и про всю ту свою опережную жизнь, разве что Домахе когда, а сыновья ничего про то от батьки не слыхали. Что-то ж он до тридцати лет делал, где-то жил или носился, поди на чём-то хрустнул, а и на речку Савалу не ломленый пришёл, так что скоро и в бобыле признала Каменка: Стебень.

Не легко досталось Елисею Благодарёву и тут, в хилой семье без мужиков, долго на него и на первого сына не давали надела, начинать пришлось с купли в долг, выплачивать в рассрочку, потом ещё приарендовывать, лишь позже дали на две души, потом и на второго сына Арсения, а у них детей уже пятеро было, да двух сирот Елисей принял от домахиной сестры, в их же семье когда-то-сь и доросшей до выданья. Вот уже и в Каменке жил Елисей боле тридцати лет, не пил, не курил, не зарил, не буянил, только тянул свой воз, но так был воз перегружен и так зажирали колёса, что всего напряга жизни его и тела не хватало разогнуться и понестись. Как и многие, не он один, запряжен был Елисей свыше мочи, а досадливей всего — что дорога в колдобинах. И всё ж старшего сына Адриана сумел он выделить на хутор, под Синие Кусты. И всё ж додержал до нонешней старости прямой стан, сторожкость головы и ясный острый дальний взгляд, так что слишком близко смотреть ему как будто и резало, щурился он. Светло и дальне он так поглядывал и в 66 лет, кубыть молод был ещё и полагал свою могуту ещё впереди.

Арсения же Благодарёва звали по-уличному Гуря. Ростом и крепостью до батьки дотягивал он, но не было ни в нём, ни в брате Адриане отцовской ровноты и струнности. Они и волосами и поличьем были потемней, носы поширше, скулы пораздатистей, по-тамбовски, и губы пораспустенней, и голова так не взнесена на шее. Ворчал Елисей: «Испортила ты, Домаха, мою породу.»

А вот самый меньшой сын сличен был с отцом, тоже светленький да стебелистый. Сейчас бы ему было осьмнадцать. Но — подростком утоп, лошадей купая в пруду, на переплыве держась за хвост.

И двум дочерям замужество досталось на отшибе: одной — в Коровайнове, на Мокрой Панде, другой ещё дале — в Иноковке, уже под Кирсановым. Так и жили с одним Арсением, и то готовясь к выделу его. А тут война.

И — ни по чему, ниоткуда отец его сегодня не ждал. А из-под тележного навеса услышал, как звукнула щеколда калитки,— и ни по чему, а в сердце торкнуло мягко. А и по чему: Чирок гавкнул (пока овцы не поставлены на корм, по всему селу собак с цепей не спускают), второй раз полугавкнул уже с приветом, и тут же смолк, ка'б запрыгал. И, как был, с седёлкой в руках, запрягать намерялся, Елисей вышел по подворью — и сверкнуло ему:

— Сенька! Ты?

Да как будто вырос ещё! — от солдатского затяга. И только спустил мешочек с левого плеча на земь — как уж батька его грабастал, уткнулся ему в щеку, над погоном с каймою жёлтой, скрещенными пушками и пламенем взрыва, гренадерским значком.

И фуражка военная сбилась от батькиной бараньей шапки. И седёлкой по спине прихлопнул Арсения, забыл откинуть. Усами, бородкой — в голое сенькино лицо тык, свежий запах ветряной, сенный, кожаный — здешний, нашенский!

И никто не наклонясь, ростом близки.

— Папаня! А ты не погорбился.

— Я-а? — на откинутых руках, на сына дивуясь.— Я сноп спускаю без цепа, пять раз размахнусь — и сыромолотка.

И поверишь: тополь, не старик, хваткие руки на сенькиных плечах, голос твёрд, взор ясен:

— У меня навильник — копна, пока вторую подвезут — а моя уже на скирду. Я конца себе ещё не предвижу, Сенька. Коль хошь — и воевать сейчас пойду, не хуже тебя. — Поприщурил свой острый дальний взор.

Да его уже и на Японскую по возрасту не брали. А с Турецкой у него — Егорий есть. Но у Сеньки уже две лычки. А на шинельной груди вот уже два крестовых звяка (что ль теперь их легче дают?), и один Егорий такой сверклый новенький, ленточка чистая, даже жалко носить затрапезно. Не проминул батька, огладил кресты:

— Ну, ну. Значит, ничаво служишь? А чо ж без нас скончать не можете?

И заново поцеловались.

На том их мать и настигла — в окно она Сеньку не приметила, а к подворью стена избы глухая, — теперь из сеней, должно, услышала, из-за угла избы выкатила шарóм. Роста в ней много поменьше мужа да сына, а сил не избыло, отталкивает мужика, сына к себе забирает, гнёт, обдаёт его дымным запахом да печным жаром — и дыханьем одним, не голосом:

— Сенечка! Сыночек!

Сейчас-то его и обцеловать, другой раз не нагнётся, постыдится, сейчас-то его и обцеловать, богоданного, Матушкой-Богородицей Казанской сохранённого и возвёрнутого ко самому престольному дню её.

Гладка мать, не больно морщинами иссечена. Нисколько она на отца не похожа, весь склад и выгляд, глаза тёмные, — всё другое, а тоже ясность во взоре.

Всякая баба при том плачет, а мать — дёржится. Сеньку за щеки руками, глядит-любуется, а не всхлипнула. Глядит да всматривается, да проверяет:

— Глекось, и ранетый ни разу не был?! Не скрыл?

— Не-е, маманя, целый, сама видишь.

— И с лица не смахнул,— проверяет мать.

— Да-к мы что едим, мамань, по крестьянству такого не увидишь. И забот — нетути, офицеры за нас думают, чем ня благо?

Смешно и матери.

— Да как же в пору угодил, к самому престолу! Что ж не написал? Ну гожо и так: седни до вечера да ещё вся пятница, уж напяку, наварю!

Похлопал Арсений и маманю по плечам мягким.

— Да какие вы у меня все справные, молодые!

Кинула мать на отца, строго:

— Сла-Богу, нельзя сказать, чтоб без мужика в дому. Иные вон маются, пленных просят, а мы застоены.

Усмехнулся батька под светлыми усами:

— Да хошь проси австрияка, а я на войну пойду. Чо ж, гляди, у сопляка два Егория, а у меня лишь один?

А седёлку так и дёржит в руке. Но уж — не запрягать.

Отец старше матери на 14 лет и то говорит: рано женился, мужик до тридцати шести годов должон терпеть. Бранил Сеньку, не пускал в двадцать четыре жениться. Бою выдержано. Да уж Адриан отделялся, тоже заранился.

А где ж Катёна? Катёнушка — где? Сама мать не сказала, Сеньке спросить не личит.

Пошли к заднему крыльцу, отец и солдатский заспинный мешок и седёлку тащит, и фуражку сенькину, упала ведь.

А из сеней на крылечко, сквозь дверь распахнутую, да не на карачках, а стоймя, правда за косяк придёрживаясь, ногу через порожек — мах, вот он идёт! вот он ступает, в одной сорочёнке, босой, непокрытый,

льняно беленький. — Са-во-стьян! — глазки распялил на дядьку невиданного. И губу отлячил — ну, точно как тятька.

— Сынколёк мой первенький! Груздочек мой!

На руки его хвать — да в высь! Нет, не покоен, не даётся, дядьки такого не знает, тянется к бабушке:

— Ба-а! Ба-а! — вон как трясут, ведь вон как кидают.

Попестовал — отпустил мальца на свои ноги:

— Ну иди, достольный, иди, хорошо ходишь. А назнакомимся, время будет.

— Да ведь застудится, вот высягнул! Фень!

А тут и Фенечка выскочила, сестрёнка двоюродная, сиротка, всплеснулась. Востренькая, да быстренькая, чуть не на цыпочках брата встречает.

— Да ты ба-арышня какая,— прокатил голосом Арсений и в головку поцеловал, в разбор волосиков. — Выросла-то за год! Да ты скоро до Катёны дорастёшь.

Да где ж Катёна моя, что ж она не вспрянет? Про Катёну-то что ж ни слова никто?

А спросить неловко, не личит.

А уж мать:

— Фенька! Бегом за Катёной!

Да и Фенька сама догадалась: на голову — платок, на плечи куфайку, ноги в коты и — бега́ на гумна!

— Они — в риге, лён мнут, Фенька пойисть приходила. Вече́рось мы капусту дорубили, доквасили, а седни — на лён.

Чередом пошли из сеней в избу, Савостейка первый, бабушка дверь открыла, он о порог высокий упёрся, ногу одну перекинул, другую, распрямился, залился — побёг, по полу некрашенному, оттого тёплому босым ногам. Ещё со своего детства Арсений помнит босыми ступнями — теплоту пола, дранного голика́ми, жёлтого.

Особливое узнавание: вот это я, отлитой, от лобика до ноготочка. Не просто мой сын, мой станется и непохож, а тут и словами не перебрать — какое оно в склади, а до дрожи — я! второй, ещё раз!

А в прорези перегородки — зыбка, ещё докачивается на подвеси.

А в зыбке — Проська.

Спит...

Никогда не виданная дочура моя, мала́я такая... Ещё ни в чём размера нет, глазки закрытые как мизинные ноготочки, от носа лишь ноздри кверху, чо там разберёшь, на Катёну ли, на меня похожа, это бабы умеют. А всё одно колотится сердце — кровь моя.

Дочка. Есть и дочка.

Сын да дочь, красные дети.

Прикоснулся пальцем ей ко щёчке, она и не чует.

На кого и смотреть, не знаешь. Груздочка б своего на руки схватил — нет, не даётся, теперь за бабкину юбку спрятался, оттуда выглёдывает.

И батька стоит молча, перемявшись, глядит на своего фейерверкера, как тот на груздочка. Тоже, может, лишний раз бы сына обхватил.

Та́к вот, сам стариков не балуешь — вырастет сын и тебя не побалует.

Снимает солдат шинель, а мать в красном углу на скамью мостится да перед поличкой лампадку затепливает. На день раньше богородичного праздника пришла радость в дом, застигла на неубраньи.

Сошла со скамьи, на своих оглянулась и показала на колени стать.

И отец, позади неё.

Голова у батьки облая, высокая, как яйцо. А не лыс, изрядно ещё волос, от шапки примятых, седоватых, но и с желтизной.

Опустился и Сенька.

Стала Доманя читать молитву. Не бубнит она, не ломится через слова, как ночью через кусты, нет, в своих немногих молитвах выиска-

ла толк, и не так Богородице молится, как разговаривает с ней по сердцу.

И Савоська, гли, без понуждения, тоже при бабке на колени стал, и когда все крестятся — тоже чего-й-то рукой махнёт, и на иконы уж так пристально смотрит, глазами разморгнутыми. И когда приучился? — лишь чуть за два годика.

Поднялись с молитвы — завертелась жизнь. И с чего начинать — не знаешь, разве с подарков. На солдатский грош — какие подарки? Кому платочек, кому ленту, кому сахарок-рафинад из пайка. Да ведь дорог не подарок, а честь, обычай.

А мать норовит:

— Да пойишь, мой соколик, Сенюшка, запрежь всего сядь да пойишь! Луковéнник есть у меня. Лещ печёный. Да и брага свекольная уж сварена, но выстаивается, рано.

Видал, видал Сенька в сенях, проходя: уже стоят кувшины, закубренные сенными затычками, и выступает через них бражная пена.

А вот она!! — влетела в избу, как бомба в землянку, только чёрно-жёлтой панёвой прометя, а пола кубыть и не коснувшись, — да в Сеньку головой, в ребро ль, куда попало, едва не проломя. И лица её не успел разглядеть, а ткнулась туда, в ребро, и то ль пышет, то ль плачет, а Сеньке затылок открыт её белый, сбористые рукава на плечах, чёрные клетки, жёлтые протяги панёвы, да самотканный пояс высоко на спине, с кистями на бок.

Вся тут, как птенец, у него под локтями, ах ты Катёнушка моя! Подкинул бы тебя сейчас как Савоську, да не при родителях же. И во Ржаксе с поезда сошёл, и Каменку с большака увидал над собою, и кольцо калитки поворачивал — и всё как во сне, не дома. А вот когда дома — Катёна под мышкой.

Дышит.

Закинул ей голову. Алеет, молчит.

Сказано — солдатка, ни вдова, ни мужняя жена.

Поцаловались.

Что ж, надо и от рук отпустить.

И вот теперь — все тут, в одной избе, — и даже всех в один обхват рук Сенька бы поместил, разве только мать широка гораздо. Служил Сенька в батарее, думал место его там, а нет, вот где — тут.

— Да ты Проську глядел ли?

— Глядел.

— Ещё погляди.

Пошли к зыбке за перегородку. Спит-поспит девка, щёчки румянистые. Это какой же? — десятый месяц!

— Она уж ползает, — Катёна хвастает, приоткрывает дитю головку повидней.

А Сенька — на Катёну, на рукава сбористые, на пояс с кистями:

— Ты что-й-то сегодня не вовсе по-буднему?

Подняла голову, глазами встретясь:

— Так, захотелось. — И тихо: — Снился.

Всего-то сказала — а по сердцу полых!

А Савоська к мамке лезет, за ногу хватает.

А Доманя велит идти к столу. Почему не писал? почему телеграммы не отбил? Батька б на станции на тарантасе бы встрел, я бы драчён напекла, пирожков... Ну, к завтрему всё будет, уж вон кулагу затворила.

— Да маманя, в один день всё свертелось. То уж было отказали, я и письмо так писал. Вечером позвал подпоручик, може, мол, и пустят, посгоди с письмом,— а через день кличет — разрешено, мол, айда к писарю за бумагой!

Текли над Сенькой месяцы и годы, вроде никак не порожние, всё служба, да команда, да немец, отдыхать не поволят, только крутись,—

а вот когда тесно подошло, не разорваться — дома! Ни глаз, ни ух, ни рота, ни рук не хватает — и материно ешь, и батьке отвечай, и к детям простягайся, Катёна вот Проську уже накормила, подносит, впервой дочку на руки взять, а она юзжит. И всё — первое, и никого б не обидеть. А и Катёна тоже не вовсе своя, как с получужим, позыркивает: как он на дочку глядит? часто ль за Савоськой руку тянет? вправду ли любит, али только прикидывается?

Да с бабами тыми не переговоришь, а самому Сеньке знать надо: как же, батя, хозяйство тянешь один? какие работы застоялись, залежались? Я сейчас с тобою эх налегну! В два пойма́ знаешь как возьмёмся! Я за тем и отпуск брал, не баловать же.

И пошли из избы.

Батька и сам о том. Тяну ничего, спина не просыхает. Шибко Катёна твоя помогает — хоть и с вилами, хоть и в извозе.

Помочь — ещё бы не надо! Только теперь уже работать — опосля праздников. А осмотреться — хоть б и сейчас, пока бабы в избе суетятся.

Вышли на подворье. Чирок прыгает, руки Сеньке лижет.

Поленница у батьки за год нисколько не подалась: сколько истратил, столько доложил. Ну да кизяками больше топят, тамбовский чернозём навозу не просит. Мало лесу — так навоз.

Объясняет батька. Тут, вишь, обстоятельства понимать надо, прежде работы. Одно, что некем взяться, больше бабы, а плуги неисправны, чинить нечем, останется земля незасеянная. Другое — не для че нам хлеба столько выращивать, что ж нам сеять — себе в убыток?

До чего ж горька обида: наперёд, ещё не зачинавши, еще только завтра паши да сей, а уж сегодня знай, что себе в убыток. Обожгло Арсения. А батька:

— Мы-то сами и год, и два на своём хлебе пересидим, без посеву. Мы ноне не гонимся хлеб продавать, как запрежь. И осеннюю запашку и посев всё село сократило. Деньги у нас теперь есть. Платили нам и за лошадей, взятых в армию, и за скот. И подате́ платим в тех же деньгах, а деньги подешевели, так и подате сильно ослабли. И уплаты в Крестьянский банк тоже. О-ох, эти деньги шалые — сгубят народ.

Докатило до Сеньки, и непривычно ему, никогда в деревне такого не бывало: на чо нам столько хлеба выращивать? И в голову не лезет, такого не помнил он в жизни.

А батька ещё побавляет: и монополки, ить, нет, тоже за деньгами перестали люди гнаться. И солдаткам способия платят. Только иные бабы от тех способий развязали волю, свекрам на хозяйство не отдают, а гонят на наряды да лакомства: нуметь, пёс с ним, с хозяйством, не убегёт, коли муж с войны воротится цел, тогда и заробим. Мужьям, вернутся, не понравится.

— А Катёна? — встревожился Сенька.

— Катёна — ни. Все деньги мне дочиста отдаёт, уж я ей потом отделяю. Да и матери ж ейной помогти надо. Не всё деньгами, ино и руками.

На подворьи их, с подсыпкой речного гравия, не было грязно, хотя по улицам кое-где только по доскам пройдёшь, и вся дорога от Ржаксы черно расквашена от недавних дождей. Бродили куры по подворью и ходил светло-гнеденький стригунок, подошёл и тыкался храпом, обдувая руки хозяина. Почесал его Арсений за ушами:

— Значит, кто да кто у тебя остался?

— Вот — Стриган, от Купавки. Сама Купавка с мерином. Да Кудесый.

Значит, две рабочих да рысачок.

— А тех двоих сдал?

— Сдал.

— Да-а, после войны всё заново заводить.

— После войны, Сенька, много заново, а с чего начинать? Ведь и корову сдал, и бычка, принудили.

— Остались-то — кто?

— Коровы — две. Бык полутор. Ну, и подтёлок.

— Оскудали, папаня.

— А деньги эти копим — начаё? Они ведь прах. Деньги — дарёмные, лёгкие, а купить на них нечего. Деньги до того стали лёгкие, что возьми их на медь разменяй, да на чашку весов горою насыпь — и то ситца не перевесят, где уж там сапог.

Под общей связью, двенадцать аршин на двадцать, содержались у них хлева и птица, а на свободном просторе, между яслями и жёлобом — лошади. И сколько было в батарее лошадей, тех тоже Арсений любил и знал — а милей своих всё же нет, в сердце торкаются.

Мерин как стоял — головы не повернул. Кудесый вздрогнул, засторожился, спиной забеспокоился. А Купавка — узнала! узнала молодого хозяина, и зафыркала, заулыбалась. И Арсению потеплело от лошадиного привета, обнял её за голову, поласкал.

Подкинул им сенца с повети.

— Прежде, помнишь, за пуд хлеба мы покупали семь фунтов гвоздей. А ноне — один фунт. Подковные гвозди всегда были 10 копеек — а вот два рубля. Так мы не то что нонешний, мы и летошний хлеб много не повезли. Вон и в закроме, а тот в кладях подле овина. До снега ещё намолотим на семена.

— А с поля ты весь убрался?

— Весь.

— А теперь мыши погрызут?

— Они! В том и дело, как его хранить-то? Чо́ мы когда держали больше, как семя да емя? Больше пудов осьмидесяти мы зимой не передёрживали. У нас и приснадобья нет его хранить. Так вот иные на поле в зародах оставляют, немолоченный.

— А эт зачем же?

— А вон на станциях да на пристанях, да из губернии в губернию, бают, хлеб силушкой отбирают!

— Но платят всё ж? — изумлялся Сенька.

— Да чо платят — по *твёрдым*? Прах! А вот и к нам полномоченные зашастывают, ходят-зарятся, де, списать запасы им надо. Седни у меня в закроме спишут — а завтра, гляди, придут забирать?

Пасмурно было снаружи, в сарае — того притемней, и лицо Елисея притемняла мохнатая его затрёпанная шапка — а глаза светлели, зоркие. Отвеку всё крестьянство стоит на том, что в ста делах, в каждом угадать дождь или сухмень, ветер и тишь, росу или заморозок, песок или подзолок, птицу, червя, дорогу, амбар, базар, и со всеми расчётами труд свой заложить — а там барыш с убытком на одном полозу ездят. Но вот сошлось — хоть голову сломи, не бывало такого, и присоветывать — не Сеньке.

После коровьего хлева заглянули в свинарник, в пустой овечий хлев — на выгоне овцы, в курятник. А гуси — то ж промышляют, ходят.

— Так вот и придёрживаются иные тем, что и на гумна не свозят. Скорый напереди, осторожный назади. А ну — цены те твёрдые да подвысят? А ну — голод какой ещё накатит, гляди? Зерно самим сгодится и для скоту. Сколько та война ещё протянется? Так спешить ли везти? А что после войны буде? Скоту сколько убыло, и ещё порежут.

Вышли наружу. С утра ясно стояло, кыб вёдро, а вот тебе натянуло, натемнило — дождь? опять же нет, лишь покрапал.

Пред Покровом и после были уж заморозки, в две волны. Отволгло опять.

— Так что, папаня, делать будем?

— Ехал ты — дорогу сильно развезло?

— Верстов пять, от Лиховатской балки, едва подковы в грязи не оставляли.

— Не разъездишься. А в сенокос — летось хорошо стояло, сена богатые взяли. Ты — долго ли пробудешь?

— Да за Михайлов день забуду. А до Введенья — нет.

— Хо-о, — обрадовался отец. — Так это мы с тобой, даст Бог, первопутка дождёмся, да поедем в луга сено забирать. Саней тридцать возьмём, а то и поболь.

За заплотом стоял пустой сенник, ждал загрузки. Лишь чуть натрушено на полку, спал кто-то.

— Ну, коноплю ещё поставим да привезём. Сарай вот защитим, до морозов успеть.

А крыша? Закинулся Сенька на избу с этой стороны, а с улицы уже видал: нигде не нарушена кровля, соломой «под глинку», обрезанными снопами.

— Хорошо, батя, хорошо дёржишься!

Сколько ни писали Арсению писем с поклонами и приветами, но не выражалось в них ясно: а как же именно живут, по каждой стати? И только обойдя и своим глазом окинув — хор-р-рошо живут! справляются.

И отцу лестно услышать от сына, как от равного.

Ну хорошо-то не хорошо, обезлюдели, стихли ярмарки, две дюжины годовых, от Туголукова до Сампура, от Токаревки до Ржаксы,— лошадиные, щепные, гончарные, спас-медовые, и в самой Каменке в марте тиховато прошла этот год. И не сбираются артели в извоз, лишь гонят на подводную повинность. Жизнь — убирается к себе во двор да к себе в избу.

— А там — сушить да молотить пойдём, из сырого лета необмолоченного много. А може с тобой ещё хранилище для свиного корму выкопаем? Запасать надо на худое время.

— А что ж, и выкопаем, батя. Враз.

Сила — живая, сыновняя, готовная. А всё решает — осколок один, зазубренный, как пролетит. На вершок бы ближе — и нет бы твоего сына, и вой тут один. И за тот вершок, и за тот осколок — ни царь тебе не вспомнит, ни земство. Всё у Бога в руках, вот — сын живой.

— А назёму поменело у тебя. Ведь во как у нас накладывалось раньше.

— Скота позабрали, навоз позолотел. На арендованные поля, где и нужно бы, никто теперь не кладёт.

— Да, порезано скоту с этой войной. То-то мы в армии мясо едим, как сроду не едено. Ведь, батя, кажный день — свежая убоина.

— Я служил — нас так не кормили,— удивляется отец.

— Сказывают, за последние года много в армии получшело. А сейчас, к празднику, как будем?

— Да барана — я вчера заколол. Хотишь — ещё одного?

У верстака батькиного постояли, посмотрели работу, и уже в садик собрались, как вспомнил Арсений живо:

— Да, а пчелишки-то? Стоят?

Особо радостно и спросить и ответить. Как будто и хозяйство, а — нет, душевное что-то.

— Стоя-ат! Уж в омшанике.

А тут — Катёна, понькой чёрно-жёлтой мах, мах, а на плечи поверх ещё разлетайку накинула, спереди не сходится, позади сборы густые.

— Сенюшка, мама спрашивает — насчёт бани как?

По семье топить думали завтра, под праздник, но для Сенюшки сегодня надобно. Мать бы и да, да дел взагрёб, рук не хватает. Но Катёна подхватилась:

— Сегодня, сегодня, что вы, мама! С такого пути! Да и там — какое у них мытьё? Да я — огнём, между делом, и не отобьюсь!

И — зарыскала в баньку бегать.

— Тебе — дров? водицы? — Сенька сунулся помочь. Да дрова-то у батьки неуж не заготовлены и вода из колодца с банею рядом — а погуторить с жёнкой пяток минут где-то-сь на переходе.

Тут и Фенька, с гумен воротясь, кидается тоже с банькой помочь, отваживает её Катёна: тебе мать указала, что делать. Да и месиво для коней время запарить.

Фенька уже ко многой работе приучена, разумеет, уж и коров справно доит, самое время девке всё перенимать. А вертится, льнёт, не оставляет их, оттого что сама в годы входит, и пробужено это в ней: муж со женою в первый день — как? что? Своими глазёнками углядеть, приметить, для себя вывести.

Где там! — калитка стучит раз, и два, и три: соседи потянулись, на служивого поглядеть, кресты потрогать. Никого не звали, никому не сообчали, а кто в окошко доглядел, кто через забор, до кого слух докинулся, в деревне разве что утаишь? Первый — Яким Рожок, в пояснице перегнутый, ему всё первому всегда надо вызнать, не сосед, аж с Зацерковья, с дальнего конца присеменил. Тут — и Агапей Дерба, чёрен да длинён, ноги как очепы переносит. Чирок на него одного излаялся, Дерба и головы мрачной не воротит. Всегда он всех слухает, а только в землю глядит угрюмо, от него же редкое слово жди. Тут и дед Иляха Баюня в шароварах полосатых, пестроцветный кисет зажат за пояс, сильно уже на палку прилегает. И — Нисифор Стремоух, гляди доселе не взятый, а меньшой брат его уж на костылях воротился.

— Ну, служивый, ну! Покажись!

— Ну, как там воюете?

Неразумные бо́шки — к а к? Ступай сам пошшупай...

— Так и воюем, очен просто: под головы кулак, под бока и так. Ждём, чего хвитфебель завтра выдаст, сахарок ли, чаёк. У вас вот нетути, а мы усем обеспечены.

— Да хорошо, сказывают, в солдатах, да что-то мало охотников.

— Мотри, служит парень быстро, с того года лычек добавили. Эт — кто ж ты теперь?

— Фейерверкер.

— А кресты твои де ж, показывай!

Кресты — на шинели, шинель в избе. Да снаружи не рассядешься, уж холодно. И в избу-то не ко времени, сажать их некуда, в избе не убрано, бабы стряпают, носятся оголтело, а мужики вот уже и цыгарки крутят, уж и кресалом тюк-тюк, искру кидают на трут, спички теперь для печи берегут, мужикам не достаётся. В избу вошли — лишь дед Иляха один на образа перекрестился. И — задымили в избе, а сами Благодарёвы николи не курят, никто.

Да мужиков-то, посчитай, сколько ещё по Каменке дома, не старых.

— Леший бы вас облобачил, что ж вы дома сидите? Вот из-за вас-то мы германа никак и не одолеем.

— Ну а всё-таки — *подходит*?

— Чья берёт-то?

— Да много яво накладено, — легко отвечал Арсений. И потяжельше: — Наших тож ня мало... Ой, мужики, ня мало... Сколь этих берёзок молоденьких на кресты посекли, сколько ям обкадили... А вперёд — ни тпру.

Тут Проська, орёпка, как в крике займись, что-й-то ей не то, и Арсению с непривычки — не чья-то чужая, своя дочка кричит. Но и Катёна кмигу метнулась, выхватила, распеленала, обмыла, покачала, баранки в марлю нажевала, опять в зыбку закинула.

А мужики-то с надёжей пришли, подсели: *замиренье* — как? не сулят ли? не слыхать ли?

В драке, де, нет умолоту.

— Не, мужики. Ни с какой стороны не шелептит, и ветром не напахивает. Только — газ едучий.

А — газ? Как это? Как?

— Ох, мужики, и врагу не пожелаю. Осколком чухнет — эт как в драке, почти и не обидно. А отравы той наглотаешься — из нутрей всего корчит.

Расскажи да расскажи, вот не отступя, тут же им — и за что второй Егорий, и какие вообче случаи.

Стал рассказывать Арсений про свою батарею, лес Дряговец, про хода сообщения — зайдёшь, не разогнёшься, надёжу не имаешь — когда ж до блиндажа. Стал рассказывать по-лёгкому, иногда и Савостейку уловя да к колену притянув — бродит тут между ног, вражонок, глазки лупит да чего-то вякает. Стал рассказывать легко, а вытянул так — не долго, смех оказался короткий. Там, в батарее, друг перед другом, они не скулили, разве что по дому, жизнь там шла дюже простая, беззадумчивая, — а здесь, в родном селе, соседям, та жизнь никак беспечально не перекладывалась. Там-то привыкли, что дешево́ солдатское горе, а тут, в своей избе, Савоську притрагивая, на зыбку поглядывая, на Катёну тайком, на батьку с маткой, — сразу вывешивалось горе во всю свою тяжесть. Свой брат Адриан дважды ранен — и опять на фронте, нисифоров брат на костылях, у деда Илюхи двух сыновей унесло. Лишь пота́ и сносна была война, пока доступно было сюда воротиться, о брёвна родные спиной потереться, да жёнку на ночь к себе подобрать. А там, у Дряговца, где фельдфебель сахар выдаёт, под ладан улечься, под крестом жердяным уснуть — ня поухмыляешься.

Высунулся Яким Рожок, от пола, у стенки на корточках сидючи:

— Всё ж таки Адриан два раза ранетый, а ты вот, сла-Богу, ни разу?

— Что ж, не всяка пуля по́ кости, иная и по́ кусту.

Отцу разговор такой перёк груди, встал да вышел.

А мужики другое задымили: вот слух идёт — сахар, хлеб да кожу к немцам вывозят, через Хинляндию, что ль. Правда ли?

Того Арсений не знает, к им в батарею столько ж вестей, как и в Каменку.

— А только,— вздохнул,— немец не провоюется, не.

Подступила к гостям Домаха сама — норовом она тверда и речью, по всему селу славна, мужики её уважают.

— Вот что, соседушки, не даёте рукам размаху! А покиньте мне сына на первый хоть день! Ещё будет время, нагуторитесь, на престол приходите.

Ничего, не обиделись мужики, подобрались и со своим дымом пошли вон: первым — Рожок присогнутый, отгибая голову вверх и назад, там — Стремоух, дед Баюня о палочку, о палочку. Агапей же Дерба, ещё угрюмее и темней, чем пришёл, картуз понёс, как две руки в него спрятал, глаза в пол, закидисто перенося ноги через пороги и зацепясь-таки полою сермяги.

Открытую дверь вослед им подержала мать, выдымиться. А сама принялась ко празднику и для теста стол скоблить добела.

Проводил Арсений мужиков, пошёл в сад — и Катёну перехватил. Из баньки бежит, в разлетайке.

— Ну? чего помочь там?

— Не, Сенюшка, скоро истопится.

Ушмыгистая, а придержал её. Тогда — о Савоське она: ну как тебе он, как? Любишь?

Сама-то уже видит, что да, иначе б и рта не раскрыла.

— Больно в меня, сам теперь примечаю. И губу так отлячивает.

— Да только ли! Ещё увидишь. Он и простодушный в тебя. И могутой в тебя будет. И хваталки у него, погляди, уже сейчас здоровы, чисто твои, палец в палец, а как схватит! Вилы ему подай отцовские! И спина у него чисто твоя.

Спина? Не знал Арсений свою спину и не догадался б савостейки-

ну смотреть. Спина-то — как может быть в два годка похожа, не похожа?

А Катёна — шмыг и пробилась, молча.

Спина... Спину-то мужнину насколько ж помнит? Во, бабы.

Поддогнал её разик, ещё до двора:

— Кать! А как чуяли мы тогда, после Масляны не разлучились, да?

Катёна залилась, голову опустила.

Ещё ни про какую войну никто не ведал, и с Масляны по закону надо было обрывать, хоть и молодожёнам. А Катёна — ещё не понесла. А жадалось им. И сшептались: будем грешить, може Бог простит. И так — до Вербной. И, видать, простил же им Бог, какого сына родила! А подклонились бы закону — и осталась бы Катёна яловой на войну.

Отец Михаил потом над святцами хмурился, грозил Катёне. Она со спохваточкой своей живой: «Батюшка, истинно говорю, лишнего переносила. Чего-й-то он никак не выкатывался!»

— В пост Великий — а какой получился! То ж велико́й, да? — не пускал её Арсений бежать.— А теперь весь отпуск мой прежде поста, далеко свободно.

Да ночи долгие, осенью́.

— Сенечка, Сенечка, посгоди, пропусти, мама ждёт, Фенька ждёт!

И тут же, оборотясь:

— Не будем в избе. А чулан занятой. В сеннике постелю, не холодно будет?

— Не хо-о-олодно! — пока Арсений выдохнул, уж её и нет.

Ещё с отцом походили. В омшаник. По саду. Какие б деревья, кусты отсадить. Рассказов у отца много, и кому ж слаще, нежели — сыну? За третьего дня у Савалы в бочаге ловил лещей — длиннее локтя, вот ты ж ел. А ту неделю высыпка куликов красных, айда?

Елисей — из первых охотников на селе. И Сеньке-Гуре задору передал.

День — какой в конце октября? Давно ли ополдень было, а вот уж усочило свету. Ещё померили с отцом, где копать, а дымок от баньки отошёл, и кричит Катёна:

— Сенюшка! Иди!

В сенцах баньки накидана солома чистая, и под окошком на лавчёнке выложила Катёна чистое мужнино бельё. Солдатскую верхнюю рубаху и сапоги с портянками скинул Арсений — внутрь нырнул. Натоплено в меру, слишком-то жарко Сенька и не любит.

Вот и на батарее построили землянку-баню, и попросторней, а — нет, не своя. Своей домашней каждую половицу знаешь ногой, каждую доску полка, и окорёнок тот, и бадейка, и ковшики — один худой, а не выбрасывается.

Всё показала — и вертанулась:

— Так ладно, Сень, я пойду.

А — на полмига дольше, чем в дверь шмыгнуть, — лишний повёрт, лишний окид глазом.

— Чо пойдёшь? — протянул Арсений медленную руку и за плечо задержал.

Катёна — глаза вбок и вниз:

— Да ночь будет.

— Хэ-э-э! — раздался Сенька голосом, — до ночи не дождаться!

Подняла Катёна смышлёные глаза:

— Феня вон покою лишилась, доглядывает. Счас томится там, минуты чтёт, когда ворочусь.

А Сенька руку не снял.

И Катёна уговорчиво:

— Расспрашивать будет. Стыднушко.

Вот это девичье-бабье стыднушко, если вправду оно тлеет, не придуманное, никогда Арсений понять не мог.

— О-о-ой! — зарычал, как зевнул, широко. — И расскажешь. От кого ж бедной девке узнать?

Опять голову опустя и тихо совсем, шепотком:

— И лавка узка, Сенюшка...

— Да зачем нам лавка? — весело перехватил Сенька. Перехватил её двумя лапами и к себе притягивал.

А Катёна голову подняла, медленно подняла, и — в полные глаза на мужа — и как будто с испугом, а он же её не пужал, аль то бабья игра такая? — их пойми:

— А веником — не засечёшь?..

— Не засеку-у-у! — Сенька довольно, и уж сам, рукой торопя...

А она, задерживая:

— А — посечёшь?..

И как это враз перечапилось: то сечки боялась, а то вроде бы упустить её боится. Ещё гуще Сенька в хохот:

— Посеку-у-у! Подавай хоть счас!

И Катёна — ещё одетая, как была, — погнулась за берёзовым веником!

И — бережно, молча, перед собой его подымая... выше своей головы, ниже сенькиной... подала!

И из-под веника — смотрит: чего будет? Секи, мол, секи, государь мой.

Остолбенел Сенька, сам напугался:

— Да за что ж? Да ты рази...? Да ты уж ли не...?

Леш-ший бы тя облобачил!

36

Арсений был мужик не жестокий, не жёсткий — и со всеми людьми, а с Катёной вовсе мягкий. Оттого стояли между ними ласковость и свет, только радуйся, пожаловаться не на что.

Пока Арсений за ней ухаживал и их первые месяцы до войны, когда она понесла Савосю, прошли у них как под солнышком тёплым, без единого резкого окрика, без единого удара разлапистой его рукой — да она ведь ему и осерчать не давала, быстрей того догадывалась и исполняла.

Потом война выгрызла всю жизнь, оставила ломотками — первый отпуск, как сон летучий, теперь вот второй, а меж ними безмужье: носить, рожать, кормить да о муже думать — и каким вернётся и что будет у них?.. Преж того — вообще ль вернётся? И тоскуя, тоскуя, тоскуя по своему избранному, сколько раз за топкой, за дойкой, за птицами, за жнивом, за сенным согрёбом, за мочкой, за чёской, за пряжею, за тканьём она и так, и сяк, на все лады строила его возвращенье: и в какую пору года, и в какую пору дня, и за чем её застанет, на пороге ли, в сенях ли первый раз поцелует.

Но потайней и упорней, себе самой дивнее, ещё и иное что-то разгоралось в ней. И не назовёшь-то — что.

Такое что-то не добранное, самой себе не понятное. Такое что-то таимное, что и подружку верную на угадку не призовёшь. Такое нутряное, или уж самой доведаться, или покинуть, смириться.

И в жалобу не сложишь. Кажется, жили — милей уж некуда. Коротко только. А разлуки вот: должей куда. И в эту вторую разлуку, после первого отпуска, встрапилось Катёне: хотелось ей, чтобы муж воротился с войны не целиком прежний. И вся простота бы светлая оставалась, и вся добродушная ласка. А — ещё бы что-то. И на руки подкинет, как дитя (ему по весу — всё одно, что Савоську). А — ещё бы.

Плужникова жена Агаша, хоть и старше Катёны на два года, но в одни хороводы ходили когда-то. Агаша — уж такая пава была, да и в

замужестве такой осталась,—а и переменялась же рядом с мужем, ну вся дочисту. Вот диво: и та ж оставалась, и вся дочисту переменённая.

Как-то ей Катёна и скажи про это.

Зубы открыла свои жемчужные крупные:

— Ты с мужем, что ж? И не жила, поди, почти. Вот поживёшь, во вкус войдёт, да пригнетёт — тогда и ты переменишься.

Пригнетёт!—ведь вот слово какое сказала! Пригнетёт!

И встряло это слово в Катёну. Нераскрытое, а в нём — всё.

И так, и так его обчуивала. Было в нём что-то.

Воротился бы Сенька не прежним лишь милым, а — грозным, что ль? Нет, не грозным. А — ко власти повёрнутым?

Были до войны в Каменке и в соседних деревнях случаи, когда парни гурьбой ловили девок поодиночке, задирали им подол наверх и выше рук, выше головы завязывали верёвкой. Иногда — по озорству, пустить девку на посмех, голой и безглазой, ино — в наказанье, если считали парни, что та девка нарушила честь и закон, тогда ещё и ремнями нахлёстывали. И когда слух потом проходил между девок — все полошились, квохтали, охали, страшней и позорней кары придумать нельзя, оборони Бог попасть под такое насилие, и честили-проклинали тех парней, да пойманная, когда в темноте, не успевала их и опознать. И Катёна, в лад со всеми девками, тоже отмахивалась, и за головоньку бралась, и жмурилась — а в зажмуре, а в ядрышке ото всех: а вдруг бы то — о н был сразу? по голосу, по руке, сердцем ли угаданный — сразу о н? и не для посрамища на деревню, а только — власть пришёл заявить? И рученькам размаху нет, и глазами не видишь, только убегать можно,— а ведь ноги нейдут, воли нет, так и рухнешь?..

Сласть дрожащая...

Все же видим: петух с какою яростью курицу топчет, кажется — закогтит насмерть, а поднялась, отряхнулась как омытая, и плавно яичко понесла.

Только Арсений при росте своём, при своей могуте далее всего от пересилья, Катёну боится меж лап раздавить, так и говаривал, не про неё одну: «Баб ещё с девок жалеть надо». Скажет Катёна ему: «Сенечка, не надо мне попускать! Сенечка, не береги меня лаской, а то я попорчусь!», — смеётся: «Ты — не попортишься.»

И правда, уж так вилась, трепетала — за одно одобренье его.

А в этот год второй военный — встрапилось Катёне. Но не знала, при приезде мужа — решится ли выговорить? Да ч т о выговорить? — не знала сама.

А он и приехал совнезапу, без письма — а сразу на порог! В двери-то ни в одной не помещался, выше всякой двери — го-спо-дин! Как завихрилась, завертелась Катёна втрое быстрее своего обыка, все дела справляла и баню готовила, семенила-бегала, а в самой колотилось, колотилось — а что? чего?..

И не думала, что засечёт, — «а не засечёшь?». В игру просто — «а посечёшь?». А как веник стала подымать — вдруг обмерла, уже не внарошку, страшно стало, а руки сами веник тот подымают, дрожат.

Как крикнет Сенька:

— Да ты уж ли не...?

Надо же! *что* подумал!.. Из игры-то!

— Нет! нет! — закричала Катёна, головой замотала, волосишки туда-сюда...

А веник-то — уж брал он от неё. Уж взял.

— Нет, нет!! — ещё кричала Катёна, а — зажмурилась. Почему — зажмурилась? коли бы в глаза ему, он бы поверил! А так —

не поверил.

И — страшный новый голос услышала, не сенькин:

— А ну, задирай панёву!..

Открыть бы глаза, голосом полным кинуть ему, что — нет!! Так— голоса нет. Так голова — сама вниз, вниз. И — руки вниз. И — взялась за панёву.

А Сенька тогда — ещё жутче:

— Повышь!.. Повышь!.. Никни!..

А этот голос озверелый уже и не смилуется. Впоследне, ещё не закрытая, нашлась, посмотрела ему в глаза, а он-то выпученный!

— Сенечка, нет! Ни с кем! — то ль крикнула, то ль шёпотом.

А он — во весь гром, уже замахиваясь веночищем:

— Никни, говорю!

Но не толкнул. Сам рукой — не погнул, на пол не кинул. Если б кинул — вскочила бы. Но — не кинул.

И — сама себя, покорно, сама себя закрыв — и открыв же! — опустилась коленами — и ниже — и ничком — головой невидящей и локтями — на банный пол.

И — ожгло, и ожгло наискось и поперёк, горячее, не так как на полке́ хвостаются, не ждала, как больно,— ожгло! и за разом раз! и за разом раз! — и руками не защититься, руки сами себя закрыли! — и обидно, что бьют, да ни за что ж! — а не крикнула больше.

И он — в молчанку сек.

Жалко себя, беззащитную, заплакала тихо. Но — не крикнула. Плакала в руки, в подол, чуть извиваясь тельцем от охватных ожогов в сорок розг — а не выбиваясь.

От поясницы до подколенок жгло её и рвало — за вины небывшие, за будущие, чтоб их не было, за никакие вины. В покор.

Плакала и ждала, где он остановится, где гнев его пройдёт.

Где милость его наступит.

Остановился. Ещё распалённо:

— Что молчишь? Говори — *с кем*?

Плакала, всхлипывала.

Пождал.

Помягче два раза опустил веник. Протягом по спине, уж больше как банная ласка.

— С кем?.. Что молчишь?

Похлипывала, ответить не выходит.

Наклонился низко, близко и уж без гнева, напуганный:

— Катёнка?!

Сам ей подол с головы отвёл, лицом к себе вывернул, тогда:

— Да ни с кем же, Сенечка! Замкнутая я без тебя...

Сенька ошалел:

— А что ж ты не сказала?

— Да я ж тебе крикнула.

— Да ты не так крикнула!

Боком, щекой прилегла Катёна на пол.

— А чего — не вскочила? Не вывернулась?

Доплакивала Катёна.

До самого полу и он, к её лицу. Тихо, близко:

— Чего ж лежала так покойно?

— Покойно!.. Попробуй...

— А — за что ж я тебя? — охмурел.

А она доплакивая, ещё доплакивая, улыбнулась.

— Ничего. Ты ж — господин мой. Буду волю твою знать.

И сама губами дотянулась — стала целовать. Целовать.

А он!.. А он!..

И носил, как дитя малое.

И качал.

И губами исправлял, чего веник наделал. Стану́шка наискось по спине задержалась, она помягчила.

...Забыли они, ждёт ли Фенька Катёну, или свекровь её ждёт к печи, и думают там что, или соседи ещё собрались,— надолго они так и остались в баньке.

Таково — ещё и не было никогда. Не подтопляло так до горла.

После Покрова коротки дни, рано смеркается. Через маленькое банное оконце свету и совсем уж не достаётся. Однако не зажигали они плошки из бараньего жиру, какая тут на оконце стояла, — привыкшим глазам доставало отсвету, да и он лишний.

Уже в темноте они баньку покинули и, никем не ждомые, не назренные, перешли в сенник. В избе уже не светилось, как и у соседей, почти всё село темно стояло.

Дети — в избе оставлены, на Доманю, а здесь настелила Катёна перин своей домашней набивки, а поверху ещё и тулуп, как всегда молодым на холод.

Под единым тулупом сразу жарко, невтерпёж, опять раскрывайся.

Над ними крыша была сплошная, а наискось — с просветами, и полоски неба посветлей крыши. Да ведь месяц за облаками.

Ничуть не хотелось спать, и долго-долго они говорили. И не то чтобы по порядку: перебивала Катёна то о детях, о привычках, разуме их, и в чём Савоська характером уже теперь на отца похож. Или — спросом об армии, как там одно, другое. Но больше всего и ладней всего говорили они о будущем: ведь кончится же война и, храни Бог, Сенька уцелеет,— так как будут они жить? Привёз Сенька слух такой, что георгиевским кавалерам после войны будут землю раздавать, по семь десятин. Вот тогда они заживут! А у нас, Сенечка, слух стоял, что после войны и вообще всем мужикам наделы увеличат. Только откуда ж её столько наберут, лихо какое? А — от помещиков, от Удела, от банков разных, на-айдут, в России ли нет земли? Поступиться не хотят. Но если и на этом обманут, всё равно, ручек не съёжим. Да отделимся на свой простор, земли ещё може прикупим, когда-то и расплатимся,— да вместе-то, да любя, да при детях, Богом посланных, это же радость одна: сперва работать на долг, потом и в зажиток. Без труда нет добра. Своё трудовое — не под гору катится, а ложится кирпич на кирпич. А Катёна *способие* своё и сейчас уже копит, что свёкор оставляет ей — на мелочи не тратит, сохранится — пригодится. Только вот деньги дешевеют. Отделяться — на отруб, это непременно, чтобы вся земля при себе, в одной черте и не сменная. Молоды, здоровы, всё в своих руках, только бы дал Бог Сенюшке уцелеть. Так на отруб, может, и батя захочет? Ну, там решим. Да наверно он на месте останется, а — поможет. Так крепче будет. На отруб — много денег надо.

А чего не умела в хозяйстве Катёна? Всё умела. Хотя излюбленное её было — гуси. Надо так хутор ставить, чтоб рядом если не речка — то пруд, иль, нык, самим запрудить. И — много гусей развесть.

О гусях Катёна могла говорить и говорить, пока не скажешь — хватит. Что за птица умная! — уже на яйцах сидели, а в избе не топилось два дня, так гусыни — пить отказались! сообразили, что на оправку вон идти, а яйца застудят. В избе-то гуси никогда не оправятся. Знала Катёна срок: 12 дней, по снеге, гусаков кормить зерном и тут же резать, а день единый перепустишь — и пошло перо в пенёк, и снова 12 дён ожидать, два срока. А гусыни занесутся — лишь мякиной кормить, ни зёрнышка! Гусиная жизнь: на трёх гусынь один гусак. С четырьмя — гусак выбивается, на пятерых — уже нужно двоих. Но главное уменье — выбирать гусаков, угадывать их мужские стати: 19 перьев в хвосте — хорош, а 18 — не бери. Развернёшь полотно крыла, у кого в основаньи чёрные пятнышки — силён, а белые прогалины — слаб. И подпёрки под крылом — два ли, три, четыре — показывают, сколько гусынь может одолеть.

— ...Слышь... А как же эт ты *спину* мою запомнила?..

— Я — всего тебя помню...

— А коли убьют — тож помнить будешь?

Прижалась-прижалась.

Уж поздно было, и примирённо, совсем бы им засыпать. А нет, что-й-то опять защекотило.

Катёна в ответ:

— Сенюшка, только спине-то... болячо...

— Ну, ин как иначе...

И опять она, с испугом будто:

— Сенюшка! А если... *ещё*?

Сенька беспечно:

— А его нам и надо!

— А — девка опять?..

— Ка-ти чередом!

— А потом — ещё?

— А хоть и ещё.

Ой-й, в-весело!!

КАК ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ, ТАК И НУЖДОЧКИ НЕТ

37

Кегель-клуб называли их собрания в ресторане Штюссихоф, хотя кегельбана не было там.

—...Швейцарское правительство — управляющее делами буржуазии...

«Кегель-клуб» — из насмешки: что не будет толку с их политики, а много шуму.

— ...Швейцарское правительство — пешка военной клики...

Но и сами усвоили название с удовольствием: будем сшибать мировых капиталистов как кегли!

(Он — воспитал их. Он излечил их от религии. Он внедрил в них понимание насилия в истории.)

— ...Швейцарское правительство бесстыдно продаёт интересы народных масс финансовым магнатам...

Это уже несколько лет как завёл Нобс — дискуссионный стол в ресторане, на площади Штюссихоф. Собирал молодых, активистов. Постепенно стал ходить сюда и Ленин.

(В этой чванной Швейцарии — сколько унижений надо перенести. Бернские с-д вообще смотрели на Ленина свысока. Переехавши в Цюрих прошлой весной, собирал было русских эмигрантов, лекции им читать, — растеклись, не ходили. Тогда перенёс усилия на молодых швейцарцев. Казалось бы, в 47 лет обидно: вылавливать и обрабатывать безусых сторонников по одному,— но не надо жалеть часов и на одного, если отрываешь его от оппортуниста Гримма.)

— ...Швейцарское правительство раболепствует перед европейской реакцией и теснит демократические права народа...

Простоватый широколицый слесарь Платтен (слесарь — для большей пролетарности, а, руку сломав, чертёжником стал) по ту сторону стола. Он — вбирает, всем лицом вбирает говоримое, такое трудное. Напряжён лоб его и в усилии собраны пухлые мягкие губы, помогая глазам, помогая ушам — слова не пропустить.

— ...Швейцарская социал-демократия должна оказать полное недоверие своему правительству...

Удлинённый стол — на хорошую швейцарскую компанию. Без ска-

терти, обструганный, с ямками выпавших сучков, локтями и тарелками обшлифованный лет за сто. Поместились просторно все девятеро, на двух лавках, и ещё одно место отобрано столбом. Кто с малой закуской, кто с пивом — для ресторанной видимости, да швейцарцы и не умеют иначе, и каждый платит за себя. А со столба — фонарик.

Самое энергичное лицо, треугольное, удлинённое, — у Вилли Мюнценберга, эрфуртского немца — под распавшимися набок непослушными волосами. Он воспринимает легко, ему этого мало даже, беспокойными длинными руками он протянулся бы взять ещё, он на митингах и сам это звонко выкрикивает.

(Повезло в Цюрихе с молодыми. Сейчас их шестеро здесь — и всё вожди молодёжи. Не то что в Четырнадцатом: посылал Инессу к швейцарским левым — Нэн рыбу ловил, а Грабер бельё вешал, жене помогал, и никому нет дела.)

— ...Надо научиться не доверять своему правительству...

Ленин — на углу, у столба, столбом прикрыт его бок. А Нобс — осмотрительный, вкрадчивый кот — на другом дальнем углу, искоса. Подальше от опасности. Сам это всё затевал — не сам ли теперь жалеет? По возрасту — он с ними, тут все вокруг тридцати, но по партийным постам, но по солидности и даже по животику — отошёл, отходит.

Над каждым столом — фонарь своего цвета. Над «кегель-клубом» — красный. И аловатый цвет на всех лицах — на крупной открытости Платтена, на чёрном чубе и крахмальном воротнике фатоватого уверенного Мимиолы, на растрёпанной нечёсанной курчавости Радека с невынимаемой трубкой и никогда не закрытыми влажными губами.

— ...В каждой стране — возбуждение ненависти к своему правительству! Только такая работа может считаться социалистической...

(Только над молодёжью и стоит работать, здесь нет унижения, это дальновидность. Впрочем, не стар и Гримм, на 11 лет моложе Ленина, но — схватился уже за власть. Не глуп, а не поднимается до теории. Вооружённого восстания не хочет, а что-нибудь левое клюнуть ему хочется. Когда в Четырнадцатом Ленин въехал в Швейцарию именем Грейлиха и устроился здесь поручительством Гримма — виделся с ним, проговорили полночи. Тот спросил: «А что б вы считали нужным в положении швейцарских с-д, вот сейчас?» Щупая, на что он способен, блеснул ему: «Я бы — провозгласил немедленно Гражданскую войну!» Перепугался. Да нет, подумал — шутка...)

— ...Нейтральность страны есть буржуазный обман и пассивное подчинение империалистической войне...

В мускульных сдвигах, в мучительном усилии платтеновский лоб, и в усилии и растерянности глаза. Как это трудно, как это трудно — постигать великую науку социализма! Как не складываются грандиозные формулы с твоим ограниченным скудным опытом. И война — обман, и нейтральность — обман, и нейтральность — всё равно, что война?.. А на товарищей покосишься — всё понимают, и стыдно признаться, и делаешь вид.

(А это — не легкомысленная фраза была: по дороге через Австрию он всё это вы́носил воодушевлённо, в Берне закрепил как тезисы, потом перелил в Манифест ЦК, потом отстоял в лозаннской публичной схватке с Плехановым. Можно тысячу раз знать марксизм, но когда грянет конкретный случай — не найти решения, а кто находит — тот делает подлинное открытие. Осенью 1914, когда 4/5 социалистов всей Европы стали на защиту отечества, а 1/5 робко мычала «за мир»,— Ленин, единственный в мировом социализме, увидел и всем показал: з а в о й н у! — но *другую*! — и немедленно!!)

Кружка пива и перед Лениным, хоть терпеть не может он этот тип — швейцарских политиков за пивным столом, но таков обряд. Бронский — сонный, как всегда, не возмутимый ничем. А Радек, чёрные бачки круговые от уха до уха пропущены под подбородком, в очках роговых, со взглядом быстрым, зубы торчат из-под верхней губы, и

перекладкой, и перекладкой вечно-дымящей чёрной трубки,— всё это слышал, всё это знает, тесно и мало ему, и медленно.

— ...Мелкое стремление мелких государств остаться в стороне от великих битв мировой истории...

Про себя барахтается Платтен, стараясь не проявиться наружно. Очень понятна задача мировой революции — но как трудно применить её к своей Швейцарии. Ум — согласен: если миновали мировую бойню, надо не успокаиваться, надо звать в социальные бои. А душа неразумная: и как хорошо-мирно живут крестьянские дома, прилепились на горных уступах, все мужчины дома, и четырежды в лето снимаются травы с лугов, как бы ни были откосы круты, и сенным запасом полнеют до крыш высокие сараи, и полными днями с отрога на отрог перезваниваются сотни колокольцев, коровьих и овечьих, как будто горы сами звенят.

— ...Узколобый эгоизм привилегированных маленьких наций...

Медлительный ход пастухов. Изредка — бич оглушительный по каменистой дороге,— и несёт его эхо за повороты холмов. Длинные, коров на двадцать, водопойные чаны под горными родниками. Перемены ветров по всколыхнутым травам, перемены туманов, курящихся над лесистыми ущельями, а когда солнце прорвёт дожди, так бывает и радуге развернуться негде, встаёт она просто столбом из горы. И на отеле пустынном, вершинном, тихая надпись: «Хранит живущего одеяние родины».

— ...Промышленность, связанная с туристами... Ваша буржуазия торгует прелестями Альп, а ваши оппортунисты ей в этом помогают...

Не удержал, не спрятал сомнения Платтен, отразилось доверчиво, бесхитростно.

И Ленин — заметил! И с угла стола, средь молодых единственный старый, ему на вид куда за пятьдесят,— живо, подвижно, искоса, как метким ударом шпаги, меткое слово — ключ агитации:

— Р е с п у б л и к а л а к е е в! — вот что такое Швейцария!

Радек зароготал, ловко, весело трубку перекладывает, да каждый раз по-новому пальцами, с серьёзностью сосёт свой важный дым. Вилли — весело ловит взгляд Учителя, руки длинные выкручиваются в нетерпении — дай ещё! дай ещё!

Да Платтен — разве спорит? Платтен — только в недоумении. Страна, пожалуй, и похожа на украшенную гостиницу, но лакеи бывают подобострастны, суетливо-податливы, а швейцарцы — медленны, самоуважительны. Да даже и жёны министров не держат лакеев, выбивают сами ковры.

(Впрочем, не было в Швейцарии случая, чтобы письмо пропало. И библиотечное дело отлично поставлено: в дальние горные пансионы высылаются книги бесплатно и тотчас.)

— ...Подачки послушным рабочим в виде социальных реформ, только бы не свергали буржуазию...

С этим совещанием три недели хлопотали, наконец вот собрали, 21-го в пятницу вечером — уж перед самым, как раз, накануне партийного съезда. И очень помог, пригодился Радек.

(Радек если когда хорош, так хорош, архидружба. Сегодня жить бы без него нельзя. И по-немецки — что говорит, что пишет, и любой поворот с ним лёгок, не надо втолковывать. Негодяй, но блестящий, такие очень нужны. А бывал — омерзительным, в Берне даже не встречались, переписывались по почте, с февраля — порвали навсегда, в Кинтале выступал совершенно провокационно.)

— ...Швейцарский народ голодает всё ужаснее и рискует быть втянутым в войну, и убитым за интересы капиталистов...

У Нобса скептический янтарный мундштучок, сам на губе держится.

(И как же было, во всей Европе одному, начинать борьбу за обновление Интернационала, нет, за разгром его и постройку Третьего?

То — соскрести своих большевиков-заграничников, кто приедет. То, помощью Гримма,— женщин десятка три, Интернациональную Социалистическую Женскую Конференцию, а самому неудобно присутствовать, а надо их направить,— так в том же народном доме просидеть три дня в кафе, а Инесса, Надя и Зинка Лилина бегали ему докладывать и спрашивали инструкции.)

— ...Идти на бойню за посторонние чужие интересы? Или принести великие жертвы за социализм, за интересы девяти десятых человечества?..

(То — интернациональную социалистическую конференцию молодёжи, и полутора десятка не набрали, в основном — кто дезертировал от воинского призыва и наверняка против войны,— и опять три дня сидеть в том же кафе, а Инесса с Сафаровым прибегают за инструкциями. Вот тут и появился Вилли.)

Двадцать семь лет тебе — а с семнадцати это кипение молодёжное: встречи, организации, конференции, демонстрации... И среди равных открывая в себе голос и удаль, и удачу,— слушаются! — как на помост, по ступенькам, чтобы лучше видели,— поднимаешься, поднимаешься, и вот уже ты — постоянный оратор, делегат, секретарь... И вожди партии уже стараются притянуть тебя к себе и настраивают не слушать вот этого азиата с его дикими идеями, а ты как раз от него, от него и зажигательного Троцкого, узнаёшь всё правильное и важное!

— ...«Защита отечества» есть обман народа, а вовсе не «война за демократию». И со стороны Швейцарии тоже...

Двадцать семь лет! — да пройти через раннюю смерть матери, побои мачехи, побои отца, прислужничество в отцовском трактире, с гостями в карты играть и говорить о политике, и у мачехи близ прачечного корыта всегда страдать от своей рваной одежды, ботинок не по размеру, и сапожным подмастерьем затянуться в пропаганду, и уже в двадцать лет эмигрировать в Цюрих, чтобы здесь, аптечным дрогистом, пройти все классовые бои...

Под красноватой лампой полно веры и ожидания преданное решительное лицо Мюнценберга. В узком остром его подбородке заострилась проверенная воля. Брови готовно сдвинуты навстречу революционным мыслям. Уже многое он делал, как Ленин говорил, и хорошо получалось. Созывал молодёжный день на Цюрихберге, больше двух тысяч, и потом с «Интернационалом», красными флагами и «долой войну» повёл их через город. И в Кинталь — уже был позван, и вместе с Лениным подписал резолюцию левых.

— ...«Защита отечества» — лицемерная фраза. Она подготовляет бойню рабочих и мелкого крестьянства...

Нескладный Шмидт из Винтертура недоумевает с дальнего края скамейки, заглядывает через весь ряд:

— Но нашу страну война не может затронуть, мы нейтральны...

— Да вступленье Швейцарии в войну возможно в любой момент!

Нобс пережёвывает янтарный мундштучок под светлой усовой пушистостью. Улыбка у него котяче-приятная, а глаза недоверчивые и хохолок с сомнением.

— Конечно, отказ от защиты отечества ставит необычайно высокие требования к революционному сознанию!

(Всю жизнь — лидер меньшинства, всю жизнь с горсточкой против всех,— нужна и тактика острая. Тактика такая: побольше вытрясти из резолюции большинства — и всё равно её не принять: или включайте наше мнение в протокол или уходим!.. Но вы — меньшинство, почему вы диктуете?.. Тогда — уходим! разрыв! скандал! позор!.. Так было на всех этих конференциях, и не было большинства, которое бы не ослабело. *Ветер всегда дует с крайнего лева*! — и нет в мире социалиста, который мог бы этим пренебречь. В том была и неуверенность Гримма, отчего он и поспешил собирать Циммервальд.)

— ...Ни одного гроша на постоянное войско даже в Швейцарии!..

— Как, и в мирное время?

— Даже в мирное время обязан социалист голосовать против военных кредитов буржуазного государства!

(Долго не было Ленину приглашения в Циммервальд, и он изнывал, боясь, что Гримм не позовёт,— а навязываться было совсем неприлично. Да и что там будет за конференция? Соберётся куча говна и будет «за мир и против аннексий». *За мир* — слышать он не мог этих слов!.. Между тем тайно влиял, чтоб натянуть в депутаты побольше своих сторонников: кто против своего правительства — это и будет ядро левого Интернационала!.. Но стянули таких только 8 человек: сами трое с Зиновьевым и Радеком, Платтен, один латыш и три скандинава. Да и весь-то «старый» Интернационал, через 50 лет после своего основания, поместился на четырёх фурах, какими извозчики повезли конференцию в горы, чтоб не привлекать внимания властей, а власти и не заметили: ни — как приехали депутаты в Швейцарию, ни — как разъехались по домам, только из иностранных газет и узнали.)

— Но особенности Швейцарии...

— Да никаких особенностей! Швейцария — такая же империалистическая страна!

Платтен — откинулся, лоб нараспашку, лоб застигнутый перегоняет морщины. Сопротивляется чувство непросвещённое: хоть и крошечная наша Швейцария — а разве не особенная? И от первого союза трёх кантонов — мы кого же силой захватили? Но — напряжением ума заставляет себя, заставляет принять передовую мысль. Крупные сильные беззащитные руки ладонями вверх на столе.

(Через этого одного Платтена, благодарный материал, можно бы повернуть всю цюрихскую организацию. Если б он больше работал над самообразованием.)

— Итак, среди нас, среди левых циммервальдистов, теперь установлено полное единодушие: мы — о т в е р г а е м защиту отечества!

Косолапым не всем понятно:

— Но, отвергая защиту отечества, мы оставляем страну беззащитной?

— В корне неправильная постановка вопроса! А правильная: или мы дадим себя убивать в интересах империалистической буржуазии, или ценой меньших жертв совершим социалистический переворот в Швейцарии — единственное средство освободить швейцарские массы от дороговизны и голода!

(В Циммервальде почти не выступал, направлял своих левых из тени. Это — самый верный расчёт сил. Уж Радек ли не выступит! — остроумно, находчиво, развязно, самоуверенно. Обязанность же вождя — сплачивать своих немногих. Враг — это ещё полврага. Но кто б ы л с нами и вдруг от нашей линии отвихивается — это двойной враг! вот по таким — первый удар! А лучше — предусмотреть, и между заседаний накачивать своих на сепаратных совещаниях.)

— ...В том и весь позор пацифизма, что он мечтает о мире без социалистической революции.

У Радека весёлая легкоподъёмность: все карманы у него оттопырены газетами, книгами, на первый день есть, если бежать на революцию — так прямо отсюда. А — интересно как!!

(Но — следить за мошенником: в любую минуту переметнётся, изменит. То — путал, мирил Гримма и Платтена, когда их надо всячески ссорить.)

— ...Переворот — абсолютно необходим для устранения всех войн...

А Бронский — как дремлет. Бронский мог бы тут и не сидеть, он — для счёта всегда. Когда нужно — проголосует. А когда нужно — и скажет, что нужно.

(Да — глупый он. Но — так мало нас, пригодится каждый в своё время.)

— ...Социалистический строй один избавит человечество от войн...

Нобс — как будто одобрителен, и в глазах и в губах — сочувствие, а ушки — покойно на месте, а лоб не взморщится. Да ведь — главный редактор главной газеты левых и мягко продвигается по партии на председательские места. Он очень, очень нужен им тут всем.

Нужны — и они ему, Нобс отлично понимает, что ветер всегда дует слева. Вот — их кучка, вот — их несколько человек, а ведь могут повернуть всю швейцарскую партию? Да только не дать им на шею сесть.

— ...Это непоследовательно: стремиться к окончанию войны и отвергать социалистическую революцию...

(Но вскочил Ленин и крикнул на письмо Либкнехта Циммервальду: **«Гражданская война — это великолепно!»** Осторожность хороша на 9/10, а в 1/10 надо переступать. Идти в окопы с пролетарским лозунгом: братание! В войсках проповедывать классовую борьбу! Обращать оружие — против своих! **Эпоха штыка наступила!** Конечно, рискованно так эмигранту в нейтральной стране, но — всегда обходилось. А в Циммервальде гнусный подлый немец Ледебур: «Вы здесь подпишете — вам не опасно, а т е м? Езжайте в Россию — и подписывайте о т т у д а!» Уровень аргументов!..)

— ...Швейцарская партия упорно остаётся в исключительно легальной колее и не готовится к революционной массовой борьбе...

От стойки с двумя пузатыми старыми бочками и десятками цветных горлышек, официант с нетёсанным швейцарским лицом медленно носит к столам золотистые кружки, бордовые бокалы и стаканы. Другой от кухонного окошка — дощечки жёлтые с наструганными бурыми копчёностями, да тарелки с жарким и рыбой — непомерно изобильные швейцарские порции, как четверные, неторопливо убирают швейцарские животы. И ещё на огоньках подле каждого обжоры подогревается вторая половина порции.

— ...Социалистическое преобразование Швейцарии вполне осуществимо и настоятельно необходимо. Капитализм вполне созрел для превращения в социализм — и немедленно!..

(На последнем заседании Циммервальда от полудня и всю ночь левая бушевала на каждой поправке, каждый раз требовала «особого мнения» в протоколе — и так незаметно сдвигала резолюцию влево. Ни Гражданской войны, ни Нового Интернационала не провели, конечно. Но создалась циммервальдская левая как международное крыло, и Ленин — вождь её, а не какой-то русский сектант. Руководство же осталось за центристами, и слава конференции — за Гриммом, во всех мировых газетах. Чуть старше тридцати, а — в Исполкоме Интернационала, потому что с оппортунистами заодно. Двадцать лет как Ленин по Швейцарии то ездил, то жил, — никакого Гримма и слышно не было.)

Втягивающее, узкое лицо Вилли. Он — согласен, согласен со всем, но, главное, точно ему понять: к а к делать? с чего начинать?

— В Швейцарии необходимо будет экспроприировать... максимум... всего не больше 30 тысяч буржуа. Ну и конечно сразу захватить все банки. И Швейцария — станет пролетарской.

От столба, искоса наблюдает Ленин, всем душевным напором, взглядом толкающим, лбом котловым наклонённым, — и успевает проверить, насколько в кого втолкнулось. Оскудевшая рыжина на куполе выступает сильней под красным фонарём.

— Подрубать корни современного общественного строя — *на практике*! И — теперь же!

Вот этот шаг и труден всем социалистам мира. Сощурился Нобс, как от боли. Даже винтертурский пролетарий что-то крив на рот. И Мимиоле давит шею высокий обруч крахмального воротника.

Хорош наш Ульянов — но слишком уж крайний. Уж крайних таких — не то что в Швейцарии, не то что в Италии, — но и во всём мире нет.

Трудно им, трудно. Переменчиво-бегло осматривает Ленин все эти разные, уже свои, а ещё не взятые головы.

А они все боятся попасть под уничтожающую издёвку его.

(Есть такой приём: когда трудно входит — навалить ещё тяжелей, и тогда прежнее трудное уже входит легче.)

И через весь стол, на шестерых швейцарцев, по всем шести линиям сразу вмешался, послал, голосом напряжённым, но не полного звука, в груди ли, в гортани, во рту неизменно теряя его и прихрамывая на «р»:

— А путь для этого — т о л ь к о р а с к о л! Это — мещанское кривлянье, будто в швейцарской социал-демократии может господствовать «внутренний мир»!

Вздрогнули. Замерли.

А он:

— Буржуазия вскормила себе социал-шовинистов, своих сторожевых псов! И какое же с ними *единство?*

(А уже начав — в одно место, в то же место, в ту же точку, чуть меняя слова, это главный принцип пропаганды и преподавания:)

— Это болезнь — не только швейцарских, не только русских, но всех социал-демократов мира: раскисляйская склонность к «примирению»! Для фальшивого «единства» все готовы поступиться принципиальностью! А между тем без полного организационного разрыва с социал-патриотами невозможно продвинуться к социализму — ни на шаг!!!

Как бы ни замерли, что б ни подумали — но уверенность учителя против класса: даже если весь класс не согласен — прав учитель, всё равно. И — ещё гортанней, и ещё нетерпеливей и нервней:

— Вопрос о расколе — основной вопрос! Всякая уступчивость в нём — п р е с т у п л е н и е! Все, кто в нём колеблются, — в р а г и п р о л е т а р и а т а! Истинные революционеры — никогда не боятся раскола!

(Раскалываться — всегда! Раскалываться — на всех этапах движения! Раскалываться до тех пор, пока станешь хоть в самой малой кучке — но Центральным Комитетом! И пусть в ней останутся самые средние, даже самые ничтожные люди, но — единопослушные, и можно достичь — всего!!!)

— В международном масштабе — раскол вполне созрел! Уже есть превосходные сведения о расколе среди немецких социалистов. И пришла пора — рвать с каутскианцами своей страны и всех стран! **Р в а т ь** со Вторым Интернационалом — и строить Третий!

(Это всё проверено — ещё на заре века. Так прорезал и убил экономистов лучом Что-Делать, замыслом конспиративной профессиональной кучки. Так стряхнул раскачкой Шаг-Два-шага хлипкий липкий мешок меньшевизма. Не власть нужна ему, но не может он **н е** управлять, когда все другие управляют так беспомощно. Не может он дать искиснуть, изгнить — несравненным способностям руководства.)

И это всё — как *тут* родилось, вот сейчас за столом, как откровение единомгновенное и покоряющее: р а с к о л своей партии — и через то победа революции!!

И замер Нобс — от сладкого страха, не мурлыкнув. Отвергнешь — тоже потеряешь? Быть может — и лучшее место здесь, за краешком этого стола?

И лапа Платтена замерла в охвате пивной кружки. О, сколько же тяжёлого ещё будет на пути социалиста!

И Мимиола победил сжимающий воротник, вырос, вырос из него. Но хмурясь.

И — просветлённо и удивлённо полуулыбался Вилли. Он — готов. И он — поведёт молодёжь. Он — всё повторит это им с трибуны.

И — лбом котловым, когда стенка пробита, доталкивая, доталкивая:

— В моей книге «Империализм» окончательно доказано, что во всех индустриальных странах Европы неизбежна скорая революция!

Там — ещё двое, они верить хотят, но — как это? Живя в своей обычной комнате, вот выйти утром между знакомыми зданиями — и делать революцию? — как?.. Кто бы показал? Ведь никогда не видано.

— Но в Швейцарии...

— А что — в Швейцарии? Прекрасная стачка в Цюрихе в Девятьсот Двенадцатом! А — этим летом? Прекрасная демонстрация Вилли на Банхофштрассе! крещение кровью!

Да, это гордость Вилли:

— И сколько раненых!

Не так даже первого августа, как третьего, в защиту павших.

Мнутся:

— Но всё-таки... в Швейцарии?..

Ему — как не поверить? Он с каждым молодым — как с равным себе, во всю серьёзность, не как отмахиваются от незрелых едва поднявшиеся вожди, но на каждого сил не жалея, собеседуя, донимая, донимая вопросами до петли...

— Но всё-таки — в Швейцарии...

Радек за это время, что разъясняли тут, из своих набитых карманов две газеты прочёл, одну книгу перелистал, а они всё не поняли?

Тычет им черенком трубки:

— Да собственный ваш прошлогодний партсъезд... Резолюцию ж приняли, о революционных массовых действиях! Ну! И — что?

И — что?.. Мало что, приняли. Принять не трудно.

— Потом и Кинталь!

Их — пятеро здесь, кто были в Кинтале, — уже и Нобс и Мюнценберг, пятеро здесь, а там их было — двенадцать, из сорока пяти. И снова грозили взрывать, уходить, покидали зал и возвращались. И большинство поддавалось меньшинству, и сдвигали, сдвигали резолюцию всё левей, всё левей: *только завоевание политической власти пролетариатом обеспечивает мир!*

Всё — так, но мало что в резолюциях...

— А у нас в Швейцарии...

Да какое ж терпение не взорвётся с этими лбами корявыми! И в новом взрыве непостижимого откровения, — сухим полётом, сиплым шелестом прорвавшегося голоса:

— Да знаете вы, что Швейцария — революционнейшая страна в мире??!

Как — ссунуло всех со скамей, со стола, вместе с кружками, тарелками, вилками, и фонарик на столбе качнулся от ветра голоса, и Нобс подхватил мундштук рукой, выранивая...

??????????????.........

(А он — видел! Он видел в Цюрихе — вот, близкобудущие баррикады — пусть не на банковской Банхофштрассе, но — к рабочему району, у Народного дома на Хельвеция-плац!)

И — выплеском взгляда разящего из монгольских глаз, и голосом, лишённым сочной глубины, зато режущим, ближе к сабле калмыцкой (только выщербинки на «р»):

— Потому что Швейцария — единственная в мире страна, где солдатам отдаётся на дом, на руки — и оружие! и амуниция!

И?..

— А что такое революция — вы знаете? Революция это: захватить банки! вокзал! почту-телеграф! и крупные предприятия! И — всё, революция победила! И что же для этого нужно? Только оружие! И оружие, вот, — есть!

Что только слышал Фриц Платтен от этого человека, своего рока и судьбы своей! — леденило кровь иногда...

А Ленин не убеждал уже, он требовал резко — у ослушников, у растяп неспособных:

— И чего же вы ждёте? Чего не хватает вам? Всенародного военного обучения? Так пришло время и потребовать! Для этого...

Импровизировал. Соображал между фразами, разглядывал между мыслями, а голос не прерывался:

— Офицеры — выборные народом. Любые... сто человек могут потребовать военного обучения! С оплатой инструкторов за казённый счёт. *Именно* при гражданских свободах Швейцарии, её эффективном демократизме — колоссально облегчается революция!

Он налегал на стол, он был как косо-крылатый, и взлетев отсюда, из зальчика ресторана Штюссихоф, — вот взмоет сейчас над площадью пятиугольной, замкнутой, средневековой, сама-то величиною с хороший зал, пронесётся над фигурой комичного фонтанного воина с флагом, завьётся спиралью мимо нависающих балконных выступов, фрески двух сапожников, выстукивающих на своих табуретках на уровне третьего этажа, гербов на фронтонах у пятого, — и над черепичными крышами старого Цюриха, над нагорными пансионами, разукрашенными шале республики лакеев:

— Немедленно начать пропаганду в армии! Разъяснять войскам и призывной молодёжи — неизбежность и законность применять оружие для освобождения от наёмного рабства!.. Издавать летучие листки за *немедленный* социалистический переворот в Швейцарии!

(Для беспаспортного иностранца несколько опрометчивые советы, но это — та самая 1/10, без которой не победишь.)

— Уже сейчас захватывать в свои руки все правления во всех союзах рабочего класса! Требовать от парламентских представителей партии — публичной проповеди социалистической революции! принудительного отчуждения фабрик, заводов и сельхозучастков!

Прямо идти — и у людей имущество отбирать? Без — закона? Швейцарцы косолапые помаргивать не успевают.

— Для усиления революционных элементов в стране — натурализовать беспошлинно всякого иностранца! При малейших шагах правительства к войне — создавать нелегальные рабочие организации! А в случае войны...

Отвагой полны вожди молодых, Мюнценберг и Мимиола:

— ...Отказываться от военной службы!

(Впрочем, Мюнценберга и Радека, как дезертиров тех армий, выслать в Германию и Австро-Венгрию закон запрещает.)

Нич-ч-чего не поняли! Насмешка, но не злая, пронеслась по ленинскому лицу. Делать нечего — снижаясь, опять снижаясь, мимо сапожников, рабски-старательно вколачивающих свою работу, над голубою фонтанной колонной, и — нырь в ресторан, сюда опять:

— Да ни в коем случае не отказываться, что же вы поняли?! Именно в Швейцарии: дают оружие — брать!! Требовать демобилизации — да, но — сохраняя оружие! С оружием — и на улицу! И — ни часу гражданского мира! Стачки! Демонстрации! Формирование рабочих отрядов! И — в о о р у ж ё н н о е   в о с с т а н и е!!!

Широколобый Платтен — как откинутый, в лоб ударенный:

— Но во время всеобщей войны... соседние державы... потерпят ли революцию в Швейцарии? Вмешаются...

А здесь-то и было зерно ленинского замысла! — в исключительной неповторимой особенности Швейцарии:

— Вот это и замечательно! Пока вся Европа воюет — а в Швейцарии баррикады! А в Швейцарии — революция! А у Швейцарии — три главных европейских языка! И по трём языкам в три стороны пальётся революция по Европе! Расширится союз революционных элементов — до пролетариата всей Европы! Сразу вызовется классовая солидарность в трёх пограничных странах! Уж если вмешаются — то революция вспыхнет п о   в с е й   Е в р о п е!!! Вот почему **Швейцария — центр мировой революции сегодня!!!**

Опалённые красным пламенем сидели кегель-клубцы, кого в каком

положении застало. Мюнценберг выдвинул узкий треугольник бесстрашного лица — вперёд в огонь. Подпалило и Нобсу пушистость. Мимиола — и галстук сорвёт, и своих темпераментных итальянцев поведёт через все развалины. Бронский в лукавой меланхолии делает вид, что тоже к бою — готов. Радек — поёрзывает, губы облизывает, запрыгал задор за глазами: да если б так — это же штук каких наколоть можно!

(Кегель-клуб — зародыш III Интернационала!)

— ...Вы — лучшая часть швейцарского пролетариата!..

А резолюция для завтрашнего съезда швейцарской партии у Радека уже лежит готовая. Вот если б Нобс её напечатал...

Гм-м-м...

А — кто её на съезде предложит?..

Гм-м-м...

Уже и ресторану скоро закрываться, расходились.

На площади Штюссихоф горели три фонаря на столбах, и много окон из домов со всех сторон. И можно было легко прочесть табличку, как бургомистр Штюсси погиб тут недалеко в битве в 1443 году. А дом семьи его «на ветру» стоял, на 60 лет старше. Да Штюсси и был наверно — посреди фонтана вот этот комичный швейцарский воин в латах и в голубых чулках. Тонкие струи слышно лились в голубоватый водоём. Было сухо и, по-здешнему, холодно.

Расходились, ещё договаривая на площади, измощённой малыми камешками подгладь. Площадь — как замкнутая, и если не знать щелевых улиц — кажется, всё, тупик, никогда не выберешься. Одни уходили вниз по откосу, мощённому коревато, и дальше переулком к набережной. Другие — мимо пивной «Францисканец». А Вилли провожал учителя по той же улице в другую сторону, мимо кабаре «Вольтер» на следующем углу, где всю ночь бушевала богема, и им встречались на узкой мостовой ещё не взятые проститутки. А от вольтеровского кабаре — круто вверх под фонарь престариннейший на чугунном столбе, по переулку-лестничке, почти можно обеих стен достать раскинутыми руками, став рядом вдвоём, — и всё вверх и вверх.

Ленин — крепкими альпийскими каблуками по камням.

Вилли ещё и ещё хотел набраться уверенности от учителя. Он не забыл летнюю драку на Банхофштрассе — но ведь опять всё смыло, подмело, и всё те же витрины сверкают, и всё то же мещанство гуляет, а рабочие спокойно слушают своих уговорчивых вождей.

— Но народ ведь — не подготовлен?..

На крутом повороте переулка из-под тёмной шапки, в слабом свете чьих-то верхних неспящих окон — голос тихий, но с тем же прорезающим лезвием:

— «Народ» конечно не подготовлен. Но это не значит, что мы имеем право откладывать *начало*.

И даже зная свою трибунную удачливость, и испытавши вопли молодёжных сходок, всё-таки возражаешь:

— Но нас — такое малое меньшинство!

А тот из темноты, остановясь, чего не открыл даже лучшим, собранным в кегель-клубе:

— А большинство — всегда глупо, и ждать его нельзя. Решительное меньшинство должно действовать — и после этого становится большинством.

На другое утро открылся съезд — в Купеческом зале, на той стороне реки. Ленин, как вождь иностранной партии, был приглашён приветствовать. А Радек, как от польской социал-демократии, тоже. Двое наших, один за другим.

В первое утро делегаты съехались ещё не все, это не было много-

людне́е, чем хороший реферат. (Ленин и не привык многолюдно, он и не знавал, что значит говорить тысяче сразу; один раз на митинге в Петербурге, так язык отнялся.)

И едва он поднялся над залом — осторожность овладела им. Как и в Циммервальде, как и в Кинтале, он не рвался высказать тут главное,— нет, вся пылкость убеждения естественно приберегалась на закрытое совещание единомышленников. Здесь — он конечно не призывал ни против швейцарского правительства, ни против банков. Стоя перед этой, формально социал-демократической, а по сути буржуазной массой самодовольных мордатых швейцарцев, рассевшихся за столиками, Ленин сразу ощутил, что его тут не воспринимают, не воспримут, да ему почти и нечего им сказать. Даже напомнить им их собственную прошлогоднюю весьма революционную резолюцию — как-то не выговаривалось, да и можно всё испортить.

И его приветствие было бы совсем коротко, если б он болезненно не зацепился за выстрел Фрица Адлера, две недели назад. Во время войны ухлопать главу имперского правительства! — это убийство заняло воображение всех, об этом много говорили, и сам Ленин для себя тоже искал оценку, а для того выспрашивал обстоятельства: чьё это влияние (не русская ли эсерка его жена?). И потаённо связанный с проработкой этого вопроса (вечный спор), Ленин тут, на съезде, половину своего выступления неуместно посвятил террору... Он сказал, что заслуживает полной симпатии приветствие террористу, посланное ЦК итальянской партии, если понять это убийство как сигнал социал-демократам покидать оппортунистическую тактику. И подробно защищал, почему русские большевики могли спорить против индивидуального террора: лишь потому, что террор должен быть действием массовым.

А швейцарцы жевали, мычали, попивали — не понять их.

Но нет! субботнее заседание пошло хорошо, подало надежду! Аплодировало Платтену большинство, и *папа* Грейлих 75-летний, в пышных сединах, стал шутить, что «партия нашла новых любимчиков». (Да то ли ещё будет, последним *швицевским* ругательством вас покрыть! Да мы вас — повесим, когда к власти придём!) Шло, шло на лад! Ленин приободрился и ощутил себя как старый армейский конь в боевой суматохе. А дальше — Нобс оглядчивый не отказался выступить с резолюцией кегель-клуба (радековской): съезду — следовать кинтальским решениям. (Туповатые швейцарцы могут из моды проголосовать, сами толком не зная, в чём там кинтальские решения, — а и попались потом! Потом — их же решением — их и клевать. Гримма клевать!)

Мелочь? Нет! — именно так и движется история: от одной завоёванной резолюции к другой, натиском меньшинства, — сдвигать и сдвигать все резолюции — влево! влево!

И следующий шаг: вечером в субботу, по замыслу кегель-клуба, собрали отдельно и тайно (индивидуально приглашая), в другом, не съездовском доме, приватно, — всех молодых депутатов съезда: ставка на то, что молодость всегда сочувствует *левому*. План был простой: вместе с ними выработать (предложить им готовую, Радек уже принёс) резолюцию, которую они завтра, в воскресенье, *от себя* предложат съезду и протолкнут.

На этом приватном совещании молодых председательствовал, конечно, Вилли — со всей свободой призывающих рук вожака, весёлого бодрого голоса и волос распавшихся, — а рядом Радек стал, как обмазанный курчавостью, в боевых весёлых очках, читал свою резолюцию, разъяснял, отвечал на вопросы. (И оратор хорош, но — перо! но перо! — нет ему цены!) А Ленин, как всегда, как любил, сидел в ряду, незаметно, и лишь внимательно слушал.

И всё было бы хорошо: молодые депутаты прислушивались к русско-польскому товарищу и соглашались.

Всё было бы хорошо, но случилась крайняя неприятность: не подумали, не догадались запереть дверь. И в незапертую вошли, да их и не заметили сразу, — две сплетницы, две гадкие бабы: госпожа Блок, приятельница самого Гримма, и Димка Смидович, приятельница Мартова. А зашли бабы — не выгонишь, будут визжать, скандал! И не уйти всему собранию в другое помещение! Да уже слышали, видели — Радека как докладчика, и всё поняли, конечно, что резолюцию швейцарскому съезду — готовят русские.

Ах, какая дьявольская досада! Ах, какая грандиозная неудача! Что за мерзавки бабы, мизерная интрига! Конечно, тут же бросились — и нашептали Гримму. А он, нахал и сволочь, скотина последняя, поверил глупому бабью! И заварил пошлую склоку, в своей «Бернер Тагвахт» напечатал гнусные намёки, абсолютно непонятные 99/100 читателей: какие-то *несколько иностранцев,* рассматривающие наше рабочее движение через свои очки и абсолютно равнодушные к швейцарским делам, хотят в порыве своего нетерпения искусственно возбудить у нас революцию!..

Ахинея! Архипошлость помойная! И это — рабочий вождь?

И на съезде — высмеяли резолюцию Нобса. Где предлагал он постановить впредь выбирать в парламент только таких депутатов, которые против защиты отечества, Грейлих возвеселился: если пошлём таких депутатов, они по пылкости могут оказаться на *кегельбане.*

И съезд — хохотал.

И рассмотрение кинтальской резолюции тоже отложили — на февраль Семнадцатого.

Что ж за трагическая судьба?! Сколько вложено сил, вечеров, убеждения, ясности, революционного динамита! — и только обломки пошлости, глупости, оппортунизма, серая вата, чердачная пыль.

И в затхлой Швейцарии торжествует бацилла мелкобуржуазного тупоумия.

А буржуазный мир — стоит, не взорванный.

ВЫ ЛЮДИ РЕЧИСТЫ,
ВАМ ВСЕ ПУТИ ЧИСТЫ.
А МЫ ЛЮДИ БЕССЛОВЕСНЫ,
НАМ ВСЕ ПРОХОДЫ ТЕСНЫ.

38

Двадцать пятого октября после полудня, ещё раз заглянувши в Главный штаб на последнее додельце, Воротынцев вышел на Невский. Его билет был на поздний поезд, с Ольдой он уже попрощался утром, а вечерок мог провести наконец с няней и с Верой. И оставалось пройти Невский до Караванной, последний раз.

Как будто светлым звонким победно-успокоенным веществом он налит был весь, не на костях держалось его тело, а — распором этого вещества. Как будто он ни в чём, никаким родом не отполнялся эти дни, а лишь набирался, набирался этого победного вещества и пребывал теперь в таком звенящем состоянии жизни, как незапамятно когда, как может быть никогда, как думать было невозможно неделю назад.

У Ольды на стене висел ещё и гонг темноватого металла. После удара волосяной палочкой он долго-долго сохранял внутреннее гудение, протяжный глухой радостный звук. Вот таким же тронутым гонгом чувствовал сейчас себя и Георгий. Он сам до сих пор не знал, что

из него извлекаются звуки, он думал только, что он обладает массой, что он металл и наблещен. А вот звук — гудел и гудел в его груди, и оттого казался новым весь мир и особенно — женщины в нём.

Восемь дней он пробыл в Петрограде, кончал девятый — а не выполнил того единственного, для чего задумана была вся поездка,— так и не встретился ни с кем серьёзно. Такой измены долгу в своей жизни не мог бы он вспомнить.

Он упрекал себя разумом, а телом — был благодарен. Утекали единственные месяцы или недели спасать положение, но и он же, Воротынцев, жил жизнь единственную и тоже, может быть, последний месяц,— и как же он мог отклонить, если судьба придвинула такое? Он был бедняк без этого, он просто — жизни бы так и не узнал без этих восьми дней.

Он упрекал себя, но были и оправдания. Во-первых, он телефонировал Гучкову несколько раз и просил передать, и даже сегодня днём брал телефон, но не застал опять: в городе, воротится вероятно вечером. Ну, значит, не судьба. А во-вторых Ольда, отобравшая его от долга, отчасти и затмила его уверенность. Всё сложней намного, чем он думал с налёту, и требует размышлений. Как-то он за эти дни поостыл кого-то искать и что-то выяснять.

Из Румынии вылетев как снаряд — в пути незаметно и мягко он потерял разрушительную скорость.

Идя по проспекту, Воротынцев по обычной военной привычке замечал косым зрением встречных военных, чтобы не упустить отдать честь. И теперь, перейдя Полицейский мост, он таким косым зрением увидел мощного военного в папахе, генерал-майорские погоны,— и острый взмах руки сам собой отдался ещё прежде, чем Воротынцев посмотрел на лицо этого генерала и узнал в нём — Свечина!!

Ответил и тот сперва тем же механическим взмахом, тоже не сразу разглядев и опознав.

Вообще-то Воротынцев читал в «Русском инвалиде» и знал, что Свечин — уже генерал-майор, помнил, однако и не помнил, не держал в памяти отдельно от прежнего Свечина,— и теперь моргнул от неожиданности.

Повернули, сшагнули, сошлись в рукопожатии.

— Е-горий?

— Ваше превосходительство!

— Ну уж! — приобнял.— Был бы и ты, сам не захотел. Помнишь известное определение: генерал — это достаточно поглупевший полковник?

— Хорошо, что ты не забыл. Ещё не отказываешься?

— Хотя по себе не замечаю,— сильными губами улыбался Свечин,— но отказываться было бы неблаговидно. Впрочем,— коснулся золотого эфеса воротынцевской шашки,— разве это хуже?

Сказал для вежливости, так не думал?

Да Воротынцев не завидовал — ни когда первый раз прочёл в списках, ни когда увидел сейчас. Двух чувств он вообще не знал в жизни — зависти и обиды, вероятно от высокой уверенности в себе. И никогда за два года он не раскаивался, что тогда на ставочных генералах душу отвёл и правду насытил.

А всё-таки и в «Инвалиде» кольнуло, и сейчас кольнуло...

— Или это не ты? Вас — двое, что ли? Ты же в Ставке, вот письмо в кармане, звал меня заезжать.

— Так и вас — двое? Я тебе в полк писал, а ты — в Петербурге?

Удачная встреча! Воротынцев не знал, насколько серьёзно истолковать свечинское письмо, полученное перед самым отъездом, и — заезжать ли в Ставку на обратном пути.

— Уже уезжаю. Сегодня ночью.

— А я — через три часа. Жаль, что не вместе.

В левой руке Свечина был крокодиловый чемоданчик, настолько

маленький, что ни грузом, ни багажом нельзя было его назвать, и даже генерал мог нести его, не противореча уставу.

— А приехал когда? Вот не встретились! — порывом пожалел, а на самом деле не мог жалеть Воротынцев: за Ольдой когда ж бы им?

В чёрных глазах Свечина просверкнуло холодное:

— Сегодня утром.

Не понял:

— Сегодня и приехал, сегодня уезжаешь?

— Я... — с жестоким пожимом больших губ,— приезжал только порвать с женой.

В толк не взять:

— С утра — и до вечера?

— И дня много,— жестоко небрежно говорил Свечин мимо Воротынцева.

За это время они непроизвольно повернули — так, как шёл Свечин, перешли Мойку, постояли, перешли Невский к Деловому клубу, постояли. И, как складывались сами шаги, пошли по Мойке в сторону Гороховой.

Весь день провисело тяжёлое небо, особенно тёмное сейчас, к ранним северным сумеркам. И начинался дождь, серая поверхность Мойки помарщивалась от капель.

— Понимаешь, — хмуро объяснил Свечин. — Несколько месяцев назад я узнал, что жена прибивается к распутинской компании. Я её — предупредил. Но я не евангелист, предупреждаю не семьдесят семь раз, а только один. Особенно женщину.

— Почему же к женщине строже всего? — с беззаботностью возразил Воротынцев.

— К ним-то? — настаивал Свечин.— Никак иначе. Иначе пропадёшь. Можешь денщика простить до десяти раз. Можно вольноопределяющегося простить за бегство с поля, ему не закрыто исправиться. А женщина — или понимает с первого предупреждения или безнадёжна.

Странный, безжалостный вывод. Но как приятно неожиданно встретиться со старым другом, при сохранившейся полной простоте отношений. Да вообще после Ольды — что могло бы ему не понравиться? Всё отлично, всё кстати, даже дождь.

— Но что ж именно случилось?

— Ничего. Только чай приезжал пить Старец. В моей квартире — пил чай!! — длинные губы Свечина перевились как жгуты. Это был признак бешенства, за то звали его, ещё при яркой черноте глаз, Сумасшедший Мулла. Однако в служебных делах никогда он это бешенство не проявлял.

— Ну — чай, слушай! Простое гостеприимство! — всё веселей, как будто дразня, возражал ему Воротынцев.— Да наверно ж и другие гости были, духовные разговоры вели.

— Молиться — церковь есть,— сурово отклонял Свечин, бесчувственно к шутке.— Нужны обязательно старцы — езжай в Оптину. Да там, видишь, старцы не те. А если шестеро баб надевают прозрачные платья и трутся около здоровенного мужика...

— Ну, не по шестеро!

— Да по двенадцать! Рассказывают: в баню с ним ходят, графини-княгини, вот такие же жёны, по очереди мочалкой его трут.

— Ну, не все. Ну, не всякий же раз,— легко возражал Воротынцев.

Вот как. Бредём все разумно по набережной, а в сторону на шаг оступись и — бултых.

— Да я этих графинь в общем виде не осуждаю. Моя оговорка лишь в том, что *моей* жене там не место, она должна знать своего хозяина. Даже если там только чёрные сухарики принимают в душистые платочки да выпрашивают грязное гришкино бельё поносить. Пили чай за моим столом, была предупреждена,— достаточно.

— Но что она сама говорит?

— Не знаю. Это не имеет значения.— Сложил губы как для свиста.— Я, видишь ли, не застал её дома. А ждать не стал, мне завтра в Ставке быть. Написал записку, сложил вот этот чемоданчик, всё остальное — ей.

Поразился Воротынцев: чтобы так — не в кавалерийской атаке, а — кончать семью?

— Сыновья — оба в кадетском. Дальше в училище пойдут.

А дождь усилялся, да крупноватый, мочил им папахи, шинели. Они прошлись вдоль Мойки, воротились к Кирпичному переулку. Темнело, сырело, скоро зажгут фонари.

— Так ты куда сейчас?

— Да никуда. Пообедать.

— Так вместе? Хочешь, пойдём к моей сестре?

— Да давай в ресторан. Вот тут Кюба рядом.

Пошли по Кирпичному. Вот и мимо тройных витражей ресторана, уже задёрнутых, тепло освещённых изнутри. Завернули на Большую Морскую, к мраморному портику на штукатуренном доме. На повороте обошёл их мягко лихач на дутых шинах и раньше остановился у Кюба. Сошёл молодой человек, принимал за собой подругу. В песочном пальто и чёрной шляпке, не покрывавшей всех волос, она спрыгнула, тонкая, лёгкая, пошатнулась, и спутник придержал её, как обнял. Они вошли перед офицерами — и в дверях и в вестибюле потянулся ток духов от той девицы.

Под розовыми абажурами друзья с удовольствием раздевались в тепле, отстегнули и шашки. А те двое — у соседнего гардеробщика. Без пальто выявилась статуэточная отточенность девушки в золотистом платьи до щиколоток, а без шляпки — избыток длинных волос, назад двумя каскадами. Спутник назвал её Ликоней.

Казалось — уж Георгий был переполнен, а нет,— появилось внимание смотреть. Вот и эту бы он раньше не заметил. А сейчас, встретясь с ней глазами, не счёл неприличным задержаться чуть дольше, будто надеялся успеть не полюбоваться, а выявить ей что-то своё.

— Такие барышни разве ходили сюда раньше? Кюба ведь был для деловых встреч?

— Вернёмся — многого не узнаем,— мрачно отозвался Свечин.

Да первое неузнаваемое и неприятное был спутник её — с выложенными подвитыми серыми локонами, чуть не напомаженный, с уверенно-ленивыми манерами. Надменно окинул он высших офицеров с их академическими аксельбантами и академическим серебряным прибором — как гардеробщиков, не больше отпуская им интереса.

— Это во время войны, сопляк такой. Погонять бы его по ходам сообщения, в три погибели.

— Да-а,— бормотал Свечин. — Читают стихи сомнамбулические, слушают этих истериков Северянина да Вертинского. Что тут пока растёт — нам неизвестно.

Первый этаж ресторана был длинная зала в коврах, в теплоцветных шёлковых занавесах на больших трёхарочных окнах, верхний свет несильный, а на столах стояли заабажуренные лампы. Но тип ресторана изменился, да: сидели дамы, переблескивая украшениями, курили длинномундштучные папиросы. А в дальнем углу у содвинутых столов, перегруженных блюдами, большая компания справляла какое-то тыловое торжество. От них доносился избыток сытого шума, и ещё на помосте, за занавеской, мастерили для них какое-то зрелище.

Воротынцев никогда не был любителем ресторанов — по многолетней денежной стеснённости, но и принципиально: любой ресторан снижает темп дела и раздувает долю удовольствия — пропорция, которую Воротынцев себе в жизни никогда не разрешал, да давно и не желал.

Но сейчас приятно было опуститься в мягкий стул против Свечина и, уже в обхвате сложного соединения многих съестных запахов,

невообразимых для фронтовика, поджидать пока поднесут меню, а раньше того что же? — закурить.

Случай так случай! — хорошо открывалось поговорить с другом — нестеснённо, обобщённо. Хотя в Петрограде от всех разговоров Воротынцев скорей растрясся, чем собрался.

И Свечин расположился удобно, потянуть время до поезда, и с удовольствием поджигал трубку. Ни по чему было не угадать, что в этот самый час, или около, его жена входит в квартиру и от мужа, который мнится ей за семьсот вёрст, читает гильотинную записку.

Поразительно, как это смог он круто так, и как собой владеет.

Потому им было легко друг с другом, что ничего не надо проговаривать подробно: хоть и не виделись два года и почти не переписывались, но только назвать — и обоим ясно большей частью от начала, большей частью до конца.

Если *Шампань,* так это не родина шампанского, а участок, где всё прошлое лето обещали союзники начать наступление в вызволенье нам, но не начали, но дали нам сгореть в нашем прошлогоднем бесснарядном гибельном отходе — и снарядов тоже не прислали нам. А когда у нас всё кончилось, то они без пользы выпустили три миллиона своих в этой самой Шампани.

Да что союзники сделали за весь Пятнадцатый год? А английская пехота — много ли дралась? С начала войны продвинулась на несколько сот метров. Очень уж себя берегут.

Или: кавказскую армию зачем гоним в ненужное безнадёжное наступление по турецким горам? Что может быть бессмысленнее нашего наступления в Турции? Горы, снег, суворовские богатыри и чудеса, взят Эрзерум! — а применить ничего нельзя, всё зря.

Но выручает союзников под Салониками. Но выгодно для Англии в Месопотамии.

Ничего не надо объяснять, только называй. Сентябрьский ли измолот гвардии под Свинюхами-Корытницей (названья — как прилеплены, по достоинству операции). Или мартовское бессмысленное наступление у Нарочь-Дрисвяты — без всяких шансов на успех, спеша до оттепели, не считая потерь, продвинулись — и распутица, окопы залиты водой по колено, артиллерия и обоз не передвигаются.

— А всё только — выручить союзников под Верденом. А и верденский бой начали немцы, союзники б не решились.— Воротынцеву уже всё к одному цвету, отчаянному.

Но Свечин из Ставки может быть и справедливей:

— Это — измолотные бои. Французы под Верденом тоже может быть за двести тысяч потеряли.

Воротынцеву всё равно не по нраву:

— Они хоть — с шумом на весь мир, хоть в историю войдут. А Эверт сколько потерял? Наверно...

— Тысяч семьдесят.

— Вот! И — ни звука. Вот так мы умираем.

Свечин-то много знает, не всё сразу вытянешь.

Орудия нам присылают — на тебе, убоже, что самому не гоже. От нашей хрустящей конской амуниции, от зарядных ящиков из кондовой древесины — не отказываются. А паровозов нам нужно 300 штук — не дают. Их формула: потребности Западного фронта громадны, оторвать от него не можем.

Да это что! — а людей!.. Уже вскоре после самсоновской катастрофы союзники имели наглость просить у нас четыре корпуса во Францию через Архангельск. А потом у них были потери в ударных сенегальцах — и с марта этого года они бессовестно требовали от нас 400 тысяч наших солдат, на свой фронт, по 40 тысяч каждый месяц.

Воротынцев не то что высвистнул, а — выдохнул как пар паровозный: во-о-он за чем приезжали эти морды благообразные, Вивиани с Тома, отснятые для всех иллюстрированных журналов. И получили-

таки русский экспедиционный корпус! Дичей этого корпуса выдумать нельзя: чтобы сидели русские мужики за семью морями в чужих траншеях как колониальные сенегальцы.

— Ну, ни за что б я не дал этого корпуса! — бурлил Воротынцев.— Значит, воевать до последней капли крови, только русской? Ну, нет у Государя твёрдости, ну нету!

И по Свечину пошарил взглядом, как он насчёт Государя? Не должен бы измениться.

— А куда ж денешься? — со своим обычным спокойным пессимизмом возражал гологоловый, гололицый Свечин, обстриженные маленькие чёрные усики под большим носом.— Алексеев поторговался с Государем, с французами, но 6 бригад по 10 тысяч пришлось дать. У союзников логика железная: поскольку недостаток вооружения не позволяет русским использовать все свои силы, то не нам должны добавить оружия, а мы должны свободный людской персонал уделить на их фронт.— Усмехнулся: — Как модный поэт читает по эстрадам: «Лишь через наш холодный труп пройдут враги, чтоб быть в Париже.»

А взгляд Воротынцева, мимо свечинского плеча, пришёлся на ту пару, севшую через три стола. И почему-то тот неназванный модный поэт совместился для него с этим декадентом с навитыми локонами, спиной сюда. А Ликоня сидела очень удобно для наблюдения, в три четверти.

И хотя Воротынцев уже давно убрался от них мыслями, и разговор со Свечиным был жизненно важен, и всегда б он был весь тут, вонзаясь,— а вот какое-то новое остаточное внимание появилось в нём, не уходило из глаза, из мысли: о чём они там могут разговаривать? чем живут? И что ему эта девица, которую он никогда не увидит больше? — но что-то встромчивое от неё вошло, её присутствие почему-то всё время ощущалось. Разной женственности, оказывается, бывают женщины. Эта изгибистая девушка виделась как концентрация всего, что так густо в эти дни захлебнул Воротынцев. Но уже по тому, как она с извозчика соскочила в обнимку, и у гардероба была вся повадка отданная, привязанная, досадно убеждался и самый бескорыстный наблюдатель, что эта Ликоня со внимательно-медленными глазами и двойным водопадом волос...

— Так и выражаются откровенно: вы нам — солдат, тогда мы вам — оружия. Подвигами нашими умеренно восхищаются, а платежей требуют как ростовщики: за все военные заказы систематически платим наличным золотом в лондонский банк, а в долг — ничего. И вот истощилась валюта — и не можем делать военных заказов, сокращаем.

Свечин морщил крупный жёсткий нос как от дурноватого запаха.

Даже не в долг?!. Ну, как бы ты ни был предостережён, как бы ни ждал дурного — а всего никогда не угадаешь. Требуя по 40 тысяч русских тел в месяц — и за каждую железку тут же золото на кон? Нет, этого западного торга нам никогда не понять! И докуда же мы отдаём?

Воротынцев страдательным голосом:

— Ком-мерсанты! Мы для них — не товарищи по несчастью, а удобная дубина? Франция — просто купила нас. Как же можно при нашем богатстве да так попасть? Как же воевать так неравно?

И под такие вопросы — только *одно* лицо всегда выставлялось перед ним, со своим стеснённо-равнодушным выражением. Ведь *он* — всё это знает! Как же он может так уступать? Зачем полез в такую петлю? Почему не заговорит с союзниками твёрдо: мол, иначе выйдем из войны?

— Мы — вообще одни, никто с нами искренне,— выливал Воротынцев свою настоявшуюся горечь.— И что́ когда-нибудь хорошего делали нам англичане или французы? Почему, собственно, они наши союзники? Как легко мы им простили крымскую войну! А японскую?

Ведь Англия была японским союзником, подарила Японии два броненосца с британским экипажем, продала три десятка вспомогательных пароходов, снабжала японский флот своим углем, на их угле Того вёл все сражения. А у Франции с Англией было «сердечное согласие» — а с нами само собой тянулся союз против Германии,— как это? Где ж наше соображение? И сегодня же союзники наперебой отплёвываются, что им, демократам, пришлось взять в союз такую гадкую реакционную Россию. В прошлом году Ллойд-Джордж публично злорадствовал нашим отступлениям и потерям.

— Их друзья американцы — к нам открыто враждебны вторую войну. Зачем и почему мы с ними союзники?!

Возобновлялись их обычные прежние друг с другом роли: роль Воротынцева — произносить горячие разоблачения, роль Свечина — с угрюмой насмешливостью напоминать безнадёжные факты, но побольше молчать и равномерно служить.

— Или Балканы? — не унимался Воротынцев.— Стоило нам для болгар брать Плевну, мёрзнуть на Шипке? Вся идея возглавить славянство — ложная, вместе и с Константинополем! Из-за славянства мы с немцами и столкнулись. Шли они на Балканы, дальше в Месопотамию — а нам что? Это — английская забота. Да и для сербов — чего мы добились? Третий год воюем за Сербию и Черногорию — и что? Они стёрты с лица земли. И мы — шатаемся. Миллионы — в земле, два миллиона в плену, если не больше, да крепости сокрушены, области отданы,— всё для союзников! Почему Англия могла перебросить войска на материк через год — а мы должны были в две недели выложиться? А после Самсонова — можно было не переть на Германию, вопреки собственной доктрине, не перемолачивать кадровую армию? И румын в союзники нам навязали французы!

Свечин и спорил и не спорил, усмехался попышливо, дымом:

— И нас же упрекают, что наши военные усилия в Румынии недостаточны. И румынские неудачи приписывают русскому предательству.

— Да ну? Вот это так!.. И всё — из-за проклятого константинопольского миража! — сек Воротынцев.— Как будто нам дуракам наши дорогие союзники уступят проливы когда-нибудь, чем мы думаем? И что за тупая жадность — почти всеобщее ослепление этим Константинополем, будь он неладен! И Достоевский туда же. И от самых крайних правых и до кадетов, даже до Шингарёва,— жизни им нет без Константинополя!

— А наш Головин? — посмеивался Свечин.— Помнишь: Россия — заколоченный дом, куда можно проникнуть только через дымовую трубу.

— Спутали все двери и окна! Свои же окна хламом завалены. Мне здесь пришлось побывать в кадетских кругах — так против Англии слова не пикни, все сразу на дыбы. У Головина-то мы ещё восемь лет назад говорили: развивать военное производство, чтоб ни от кого не зависеть. Так тогда и нафталинные старцы и умная Дума пожалели именно золота. А теперь — отвезли его всё.

В меню стояли цены непостигаемо высокие. Но и—выбор. Не слишком по карману... А что ж тут пить? Генеральские звёзды надо ж обмыть? Не может быть, чтобы водки не устроили, небось как-нибудь тайно...

Как церковная вера неуклонно раскладывается на народ, а для чистой публики всегда допускаются полегчания, так и здесь не могло не быть изъятий.

Свечин когда и согласен, так посмеивается, Свечин свои заборцы знает. Он — критик особенный, к нему привыкнуть. Вот, он знал о союзниках горше Воротынцева, но через каменные заборцы не прыгал. Знай ругай, а служи в своём загоне.

— Кстати, знаешь: Алексеев предлагал вообще с Турцией помириться и фронт ликвидировать.

— Да что ты! И он бывает такой умница? И что ж?

— А ничего ж. Чем у нас может кончиться?.. А по-твоему что ж, надо было союзничать с немцами?

— Один отставной корпусной генерал, как только войну объявили, сказал: ну всё, погибли две империи, российская и германская. Я тогда ещё этого не оценил. Не говорю союзничать — но можно было удержаться в хорошем нейтралитете. И они нам его не раз предлагали, хоть в Девятьсот Седьмом.

— Но нам нужно было одним рывком избавиться от немецкого засилия.

— Но для этого не непременно воевать! У нас это проговорить невозможно — сблизиться с центральными державами. Кадеты мешали вооружаться — но при этом с Германией не мирись! Конечно, уже имея договор, получается, что надо было спасать Францию. Но раньше того: мы не нуждались ни в этом договоре, ни в этом союзе, ни в территориях. Наша потребность — только внутреннее развитие. Это понимал и делал Столыпин.

Но свечинскую глыбу так просто не сдвинешь. Скучно посапывал:

— Да и Германия во время японской интриговала. Она в таком союзе с нами была, чтоб задушить торговым договором, брали зерно задаром. А старое вспоминать — так кто на Берлинском конгрессе запретил нам проливы? Почему Скобелев говорил: «дорога в Константинополь ведёт через Берлин»? Всегда смотрели немцы на Россию как на навоз для удобрения.

Это правда, что ни вспомнишь — то унижение. Ну, и русская политика.

— В общем — были пути уклониться от этой войны. И надо было.

— Нет. Раз Германия твёрдо решила с нами воевать — без унижения мы уклониться не могли. Они бы вынуждали нас, следовал бы позор за позором. Чтобы против Германии мочь ровно стоять — нам неизбежен был союз с Францией. Вот Александр III и принял. А иначе б мы остались один на один.

— Ну и что? Что ж, у нас спина хрупче, чем у Германии? Ну, не-ет! Ещё одна Отечественная война? Так вот тогда б наш народ и стал — заедино и до последнего, не как сейчас. А стань в положение Германии, разве она не одна? Кто у них по сути союзник? Да никто. А стоят — против всего мира, я-те дам! Они стоят одни — так мы, гигантская страна, не простояли бы? Ну что нам этот коммерческий конфликт между Англией и Германией? — он нас не касается, зачем мы туда встряли? Если Россия куда лезет — то только по несознанию своей силы. Если б мы понимали себя — никогда бы мы не тесались в игру этих мальчишек. Что нам в каждой драке непременно надо? Дураки политику обдумывают. Вообще никто не обдумывает. Мы — тем сильней, чем твёрже в своих пределах. Да, ты прав, нам послан был урок турецкой войны: мы воевали, умирали, а другие, в нейтральности, пальцем не пошевеля, направили как хотели. И нам бы всего только — не мешаться в эту войну, деритесь, а мы ни при чём, да два года мирно постоять,— так не было бы силы, сравнимой с нашей.

— Ну, Егорий, что о том говорить, чего не жарить, не варить. Правильно, неправильно, но историю не переделаешь, что́ уж ты так горячишься.

— А то, что и сегодня из этого вытекает, как нам быть дальше! — не гнулся Воротынцев.

— Как же? — уже заранее высмеивал Свечин.

— А-а... — менять весь наш взгляд на веденье этой войны. Перестать пробивать стену лбом, не считаясь с жертвами.

— Вот тебя не поставили вместо Алексеева! И как бы ты это делал?

— Я бы? — Готов, но замялся. — Ну, по крайней мере Шестнадцатый год *продремал* бы, никуда бы не лез.

Тут усилился шум на банкете в конце залы, что-то объявили — и те не пойманные мародёры или провизоры, нажившиеся на опиуме и кокаине, стали аплодировать холёными руками. Кто-то раскланялся — свадьба-не свадьба, юбилей? выгодная сделка? — отдёрнулась занавеска, а за нею —

подвешено какое-то колесо. И двое служителей стали быстро поджигать его в разных местах. И отскочили тут же.

Колесо само завертелось, густо рассыпая искры бенгальского, всё сплошней занимаясь огнём по диску, в три цвета: серебристый из центра, голубой по большему кругу и красный по ободу, как бы национальный флаг, только во вращении. Закружившийся, заверченный флаг.

Ах, как забавно! Ах, как весело придумано! — смеялись, хвалили, аплодировали мародёры.

Но пиротехники не рассчитали: поредел серебристый цвет, поредел голубой, и исчерпались оба, а объемлющий красный — нисколько. Так и вертелся налитым ободом.

Красным.

Алым.

Багряным.

Огненным.

Докручивался, рассыпая искры.

Не так, а где-то что-то подобное... ?

Да! Мельница горела в Уздау...

39

Водку подали им в нарзанной бутылке. Изобретателен бес. Как это может быть? Да платят полиции взятки, вот те и не замечают.

А уж это — причуда посетителей-офицеров, что они к нарзану заказали солёную закуску.

А на какой-то стол принесли толстый чайник с «белым чаем». Устраиваются.

Ну что ж, начали?

По стопке, по стопке — с отвычки грело и разбирало веселовато.

За эти полчаса со Свечиным Воротынцева уже покидала та самодовольная победность, распиравшая его тело, дозвуки гонга в нём уже не стали звучать, — возвращалось тело в свою обычную жизнь — и дремавший ум просветлялся.

Войну — надо вести иначе. Не надеяться, что она вот к лету кончится, а — менять весь её характер.

Свечин согласен: менять методы веденья войны. Как мы застыли в окопных линиях — из этого вырваться не просто, можно и десять лет просидеть. И вот есть идея, которую в Ставке никто не слушает: не стараться толкаться целыми фронтами, а формировать хорошо подготовленные, отлично снабжённые ударные группы, все — на копытах и на колёсах. Прорвать фронт хоть узко, хоть на несколько часов, — и бросить такую группу глубоким рейдом! Такой войны немец не выдержит, это будет почище партизан в Отечественную. А ответить тем же он нам не может, потому что наши рейды у нашего населения найдут помощь, а он — не найдёт.

Нет. Вот теперь-то, обежав места неразногласные, и раздиралось их понимание от разноты опыта за два года.

— Не в приёмах, Андреич. Уже не в оперативных приёмах. Я тебе говорю: менять весь х а р а к т е р!

Из Штаба Верховного видно не то, что из полковой землянки. Кто засиделся в штабе, тот забывает чувствовать погибших. Им — можно ноли при числах подсчитывать. Но...

— Ты оглянись, ты ощути — сколько мы уже народа нашего пере-

били? Уж офицеров — и лучших, и средних, всех перебили, давай вспоминать. И сколько уже таких полков, как 1-й Сибирский, где ни одного не осталось? Вместо кадровых — прапорщики «с идеями». А главную массу наших унтеров мы погубили в 14-м году. Сейчас русских уже побито больше, чем когда-нибудь в нашей истории, в любых войнах. И льётся именно и почти исключительно — русская кровь. Кавказцев — мы не призываем, хорошо. Туркестанцы не захотели идти даже на тыловые работы — мы согласились, хорошо.

— А инородцами много не навоюешь. В пехотную службу они пойдут неохотно, они — кавалеристы, а по нынешней войне кавалерию надо как можно уменьшать, знаешь сам. А такого упорства в бою, как у русских, — ни у кого нет.

— Кто тянет, того и погоняй, да? Что мы делаем! — ратников гоним, беззащитные бороды. Своими руками гоним Россию на смерть! Если других щадим — почему же своих не щадим? Мы проигрываем больше, чем войну, — народ! Это невероятно, что мы выкачали из страны миллионов сколько? тринадцать? и продолжаем качать дальше, уже мальчиков 19-летних. А в окопах всё равно не сидит и три миллиона — а где остальные? И лошадей сгоняем, разоряем тыл — зачем? У немцев был перерыв в войнах сорок три года, а у нас — всего девять. Но кто же воюет умелее?

— Со всей их умелостью они сейчас лошадей кормят суррогатом из соломы и древесины. Конечно, организация. Но они задыхаются без людей, без продуктов, без материалов — и наш фронт, наоборот, представляется им грознейшей силой.

— Да? А наш тыл? Нам с фронта ещё очень мало видно. — Он сказал «нам с фронта» из вежливости, понимая, что у Свечина в Ставке слишком взнесенная и не угнетённая точка зрения. — Мы с позиций только и смотрим вперёд, на неприятеля. А поездишь — наслушаешься... «Надо бить немца сперва внутреннего!..» «Не умеете воевать — кончайте!» Рабочие уже бунтуют и захватывают запасные части.

— Ну уж! Страсти-мордасти.

Да! Вот за эти дни в Петрограде. Очень серьёзные волнения на Выборгской стороне. Полиция... А соседний запасной 181-й полк... Чуть передайся через мосты — и во всём Петрограде...

Ну уж!

Когда не случилось — так всегда «ну уж!». А когда случится, так: иначе быть не могло.

А мародёры там, в глубине зала, шумно веселились, в хохоте взрывались. И все, конечно, имеют законное право не воевать, сорить деньги и праздновать в ресторане Кюба даже по будним дням.

Не очень верил Свечин. Впрочем, десять дней назад и Воротынцев, — из армии как можно в это поверить?

— Где и муки даже не стало хватать. Сейчас как бы не опаснее, чем летом Пятнадцатого. В прошлом году, как мы ни отступали, но сыт и крепок был тыл.

— А как уж мы так отступали? — рассердился Свечин. — За Москву, как в Отечественную? До Полтавы, как Пётр? Даже не до Днепра, как от поляков бывало не раз. А мы — всего лишь на краю Польши стоим. Ну потеряли Польшу, Галицию, часть Лифляндии...

(Польшу, Галицию, Лифляндию, — но оставалась Ольда. Имея Ольду, уже не чувствуешь себя в столь побитой армии.)

— Тебе бы поотступать самому с венгерской равнины — попятиться задом на Карпаты.

— В Пятнадцатом страшно показалось оттого, что без снарядов. Ну, отошли на 500 вёрст, а ни одной армии, ни одного корпуса не дали окружить. А сейчас снарядов — завались, и с каждым месяцем больше. И армия — прочна, и тверда, и исполняет свой долг, не знаю случаев неподчинения. Ты невольно поддаёшься — от румынских впечатлений. А кроме: Германия и Австрия уже нигде не способны на большое на-

ступление и переходят к обороне. И обречены на истощение, к ним силы ниоткуда не подходят. Пленные немцы стали — упавшего духа.

Увеличенно крупная, а по слабости волос всегда стриженная под машинку, голова Свечина была не кругло-овальная, как у всех людей, а с выпирающими несимметричными буграми, как бы знаками упорства. Волосы скудные, а голова — непробиваемая.

— Мы, напротив, войну уже неотвратимо выиграли,— пёр он своими буграми. — Ничего, хоть эти чёртовы доблестные союзнички где выиграют — всё равно война наша. Пойми: центральные державы изготовляют в сутки 600 тысяч снарядов, а Согласие — 800, это ж когда-то всё равно перевесит.

Но лишь всего один такой снаряд — да в гущу нашего окопа...

Воротынцева пригнуло к столу — к Свечину, через стол навстречу. Устойчивый наклон, как ходят в атаку. И твёрдо, и глухо:

— Наш корень выбит, Андреич! За эти 27 месяцев выбит наш корень. Не считай союзниковы снаряды, поезжай посмотри наши полки. Это — уже не те полки, какие шагали по Пруссии, тогда у Самсонова. Нам — армию подменили, Андреич! Никакая победа нам не заменит убитой России! Мы сейчас — добиваем тело народа. Не считай союзниковы снаряды, да и наши, — народу обещали войну в три месяца, народ выдохся, народ хочет только замирения! Настроение солдат такое: затеяли баре войну и убивают мужиков. Если Россия подменится, станет другая Россия, — зачем нам победа?

Пахнуло на Свечина.

Но не убедило, даже изумило:

— Так тебе что — уже и победа не нужна??

— Я просто — вижу, как оно есть, — отдышивался Воротынцев после выпаленного. — Такую логику мы уже помним: «претерпевый до конца, спасен будет», да? Если мы не уничтожимся, вот это и будет победа, после всех глупостей. Нам победа в Европе ничего не даёт, что́ она нам даёт? Ещё земли захватывать? Опять Константинополь?

Но Свечин смотрел с недоумением. Нет, этого он не принимал:

— Так что ты предлагаешь? Теперь выскакивать из войны, что ли? Сепаратный мир? Но если Россия отделится теперь от союзников, она и окажется в побеждённых. Преждевременный мир привёл бы Россию к беде. Даже к революции.

— Как раз наоборот! — спокойно выставил Воротынцев.

Но так прямо — сепаратный мир — он не хотел или ещё не готов был сказать.

А Свечин:

— Знаешь, я соглашусь: может быть и умно было в эту войну не встревать. Но уж встряли — надо кончать её, а не метаться. Война сорванная, наспех законченная — грозит ещё худшими последствиями, чем нынешнее напряжение. Да как это, ну как это выйти из войны — и без ущерба для России?

— А продолжать и тянуть её — не худший ущерб, чем выскочить? Практически это можно обсудить. Один из вариантов, говорю, задремать.

— А что скажут союзники?

— Да не о союзниках мы должны думать, а о спасении своего народа! Это — интеллигентская кадетская фраза: что России будет несмываемый позор, если она расстроит единство с союзниками. А эти союзники довольно на нас покатались, хватит. Да все войны всегда они вели для своей выгоды, а только мы болваны без толку суёмся... Я иногда думаю, правда, что нас хитро впутали в эту войну: союзники нуждались осадить Германию, — а хорошо это сделать русскими руками: заодно и Россия крахнет внутри, раз она даже японской не выдержала. Они выиграют — они и победу захватят, мы — лишь бы им выволочили. Так пусть они свою победу берут, а нам нужно только

не уничтожиться, перестать терять людей. Бывает болезнь, бывает усталость, когда дальше — ни шагу нельзя?

Из сходного знания они делали разные выводы. Эта страстность разногласий между сходными — она и досадна, когда всплывает, но она ж и плодовита всегда.

Да нет же, нет, как раз наоборот! — убеждал Свечин.

— Самый важный год в войне и будет Девятьсот Семнадцатый, и именно после всех жертв тут и нельзя ослабить напряжения сил. Мы даже должны *увеличить* армию — теперь, когда фронт растянулся до Чёрного моря. Сейчас белобилетников переосвидетельствуют — ждём от этого 600 тысяч. Да ратников 2-го разряда — ещё 150 тысяч. Да очередной призыв. И с этими ресурсами...

Ресурсами, Боже.

— Да нельзя больше испытывать народное терпение, пойми!

— Да ты стал выражаться, как народник, а не как офицер генерального штаба! — смеялся Свечин чёрными сочными очами.

— Нет, как доктор. Как доктор, приложивший ухо к груди — и услышал смертные хрипы. Поверь! Не пустое говорю. Знаю.

До этой минуты Воротынцев высказал всё, что хотел, не смягчая, — и сколько бы Свечин ни возражал — но сказано, и между ними легло. Однако продолжать дальше, — а *решения, пути* — он не мог предложить. Он только знал, он чувствовал, что — надо действовать!! И вот такая встреча! Куда естественней! — умён, силён, быстр, доверие полное, теперь и фигура — генерал в самом сердце Ставки. Не намного мельче и Гучкова. Во всей поездке такой встречи не было и не будет.

Но Свечин — служака. Он может всё понимать, а содействовать — не будет:

— Тут в Петербурге все взбеленились, будто мы войну проигрываем. И с чего это взяли? И друг друга настрёкивают. И, конечно, Гучков туда же, в первых рядах. Что за дерьмовое письмо его Алексееву, читал? Придрался — не к существу, чтобы только правительство выбранить и шума поднять побольше. Раздул, раздул — и распространять, дамский приём, истерика, как у всех тут. А что в письме доказано? Ничего. Очередной столичный экзерсис.

Вот повернулось: сам же Свечин и налетел на центральную фигуру, и Воротынцев опешил его защитить. Там, в Румынии, это письмо сослужило ему переполняющей каплей, подожгло его нетерпение — оттого ли, что мы так бываем готовы слишком? А сейчас подумал: правда, что за форма?

А Свечин доламывал:

— Гучкову как раз стыдно не разобраться: он и военным себя считает, и на фронт заглядывал, и снабжение как будто знает, или даже занимается. Хотя его эти военно-промышленные комитеты неизвестно что больше: помогают снабжению или путают, нельзя иметь столько хозяев. Да и все же только рвутся на фронт — агитировать генералов да раздавать офицерам ротаторные речи.

Тут подали им уху, немного умеряя и отвлекая обоих. А водка их уже была при конце. Не давая остывать, накинулись на уху.

Немного подсправясь, опять усмехнулся чернобровый безбородый башибузук:

— А видел бы ты, чего это Алексееву стоило, — он с тех пор заболел, не выздоравливает. Ведь он, как истинно-русский человек, больше всего на свете боится начальства. А тут — Государь мог подумать, что Алексеев и действительно состоит с Гучковым в переписке!

Сразу мысли: а сам Свечин — разве не боится начальства? И, если уж до конца: как он сегодня к Государю? Это — ключ.

— Ну и так, как он, работать, тоже заболеешь. Ведь он через свою единую голову не только всё армейское, но уже и всё гражданское: заготовки провианта, фуража, металлический голод, топливо, даже милитаризацию заводов. Он по-прежнему: помощников себе не ищет и хо-

рошего штаба никогда не создаст. Половина Ставки — вообще бездельники. Один у него советчик был Борисов, нечёсаный, немытый, дух запазушный, и тот не работал. Алексееву нужны только исполнители, вроде дурака Пустовойтенки, лишь бы бумаги вели в порядке, а не совались. Старик даже не желает смотреть оперативные планы нашего отдела: мол, если решение должен принимать один человек, то он один должен и планы составлять. Сам! Предложишь ему что-нибудь вроде рейдов — только отмахивается, поменьше нам этих новинок, увольте!

— Ну, хоть и в одиночку, а решения, я смотрю, он принимает неплохие. Если, ты говоришь, он — за мир с Турцией. И, если я правильно слышал, он и с Румынией не хотел вязаться, а отдать предпочтение северной части фронта. Да ведь как ему, наверно, его величество ещё подпорчивает?

Пристально на Свечина.

Тот, над ухой, размеренно:

— А союзные дипломаты? А царица? И даже Распутин, свинья, передаёт Алексееву советы.

Не добавил глазами больше сказанного, но — всё понимает, конечно. А сворачивает на своё:

— Но и нельзя же все задачи армии и страны пропускать через одну голову. Это как раз свойство человека, одарённого не щедро. У нас — бранить принято Государя, сколько угодно правительство, только не нашего старика, он стал как признанное достояние России. А между нами поближе: разве он достойный главнокомандующий великой армии?..

Вот именно. Только не он — главнокомандующий. Верховный с ним по соседству — спит, гуляет, обедает с генералами и дипломатами, слушает охотницкие истории, посещает кинематограф.

— Ну конечно, после Янушкевича и Данилова — на Алексеева можно молиться. Но вот это и есть та лопата, которую ставят вместо иконы.

Тут — как не присоединиться:

— Это, Андреич, и есть тоска десятилетий бездарности. Даже когда искренно хотят поставить даровитого человека — уже не способны найти его. И ставят, по наследству, со своей печатью ограниченности. А соваться в такую войну — надо быть твёрдой властью, иначе бы и не соваться. Тот же и тыл — выдержал бы и вчетверо, как в Германии выдерживает, — если была бы твёрдая рука.

Свечин как не слышит:

— Да я о нём — и не плохо. Не корыстен, не честолюбив, разумно понимает дело. Да и не отвергнет правильного решения, если только оно лежит на привычной плоскости и в умеренных пределах. И спать не ляжет, пока всех распоряжений из головы не выдаст. Только стал над Россией возвышаться как монумент бесценного опыта. Но я к чему веду: сейчас старик серьёзно заболел. И видно надолго, и видно в отпуск уйдёт.

— Да что ты? Чем же?

— Что-то с почками. И температура всё время. Это — злословим, что перепуг от письма Гучкова. А старик здорово подался. Но к чему я опять веду: что перед Алексеевым невозможно было и заикнуться, что вот такого и такого делового человека взять бы в Ставку. Скажет: спать поменьше надо, и сами справимся. Но теперь, если он надолго уйдёт, — неизбежно в Ставку будут брать новых людей. Ты сейчас здесь — в отпуску? или по какому делу?

Сердце стукнуло:

— Дней через пять думаю быть в полку.

— И сгниёшь за мамалыгу, — твёрдо уложил Свечин твёрдую руку на воротынцевскую. Деловито, как опасаясь дружеской благодарности: — Ты не думай, что я о тебе эти два года забывал. Но была

не та обстановка. В штаб великого князя тебе, ты понимаешь, возврата не было.

Да замечательно бы! Если хотеть участвовать в каких-то кардинальных центральных изменениях — так Ставка и лучшее место.

— Там, левей вас, сейчас две новых армии формируют до устья Дуная.

— Когда? Не было.

— Вот, с 17-го числа. И пихнут тебя туда из Девятой, ещё дальше, ещё грязней, ног не выберешь. Там уже передвигают. До каких пор тебе околачиваться по закраинам?

Это и была одна из болей: уж полком бы — ладно, но зачем на таком чёртовом краю? На Дунай? — значит, против Болгарии? Это и значит — ползти за византийской мечтой. Когда фронт стоит на Двине — обидно умирать за Константинополь.

— А пока старика не будет — я хочу попробовать быстро забрать тебя в Ставку. — И якобы уговорчиво: — Полковых командиров мы ещё наберём. Но ты — стратег, где твоё место?

Уговаривать ли его, что он стратег? С какой клички он и начинал юнкерскую жизнь! Только несколько академистов и знают по-настоящему, что́ может Воротынцев. Никому проронить нельзя, но даже пост командующего армией он не считал бы для себя чрезмерным. Ставка, Ставка! — и ему нужна, и он ей.

Однако:

— Но есть приказ брать в штабы только офицеров третьего разряда, полуинвалидов?

Как командир действующего полка Воротынцев истово ненавидел раздутость штабов в русской армии. Как полковой командир он вполне был бы доволен и переводом хотя бы на Северный фронт.

— То в штабы, а то в Ставку, — с дружеской грубостью отбросил Свечин. — Да и в штабах сидят здоровые, не выковыришь. Не дури, Егор, не брыкайся. Скажи, куда тебе вызов послать, — в два-три дня вышлю. А то — так заезжай в Ставку сейчас, на обратной дороге?

— Всё — так, Андреич, — обдумывался Воротынцев. — Это — очень хорошо...

Но если уже этого касалось — имел ли он право, благородно ли было скрыть от Свечина свой сегодняшний образ мыслей и свои смутные планы, которые хотя и замыслом ещё нельзя назвать, а всё же... Свечин должен знать, кого рекомендует. А и — назвать это всё очень трудно, это ещё всё нужно обсуждать. Но мысли мятежны, это — несогласие с тем упёрто-загипнотизированным ведением войны, как ведёт или плывёт Государь. Мысли — мятежны, на чей взгляд они — к спасенью России, но чуть сдвинь акценты — их можно назвать и государственной изменой?..

И ведь не один Воротынцев так думает: это носится в воздухе, так думают и другие, конечно.

Не Свечин?

— Всё так, Андреич. Но я говорю тебе: в разорении — дела *обще*государственные. И поэтому требуется от нас нечто большее, чем простая служба в Ставке.

Вглядывался в башибузука.

Тот — доедал рыбу, осмотрительно к костям.

Воротынцев переклонился вперёд, опираясь о столик, собирая на большеглазого, большеухого, упрямого — весь душевный напор, с которым вылетел из Румынии. От нескольких фраз, построенных правильно или неправильно...

А над их головами:

— О-о-о! Да тут сегодня, я вижу, собираются младотурки?

Вскинулись — стоял подле них Александр Иванович Гучков!!

Тёмно-серый сюртук, чёрный галстук на стоячем крахмальном во-

ротничке. Улыбался, и даже что-то мило-застенчивое в улыбке было. Приветливо поглядывал через пенсне.

Воротынцев радостно вскочил:

— Александр Иваныч! Вот чудо!

Свечин поднялся сдержанно.

Ответное пожатие Гучкова было слабоватое. И весь он выглядел не бодро, хотя добирал тем, что голову держал назад.

— Какое ж чудо?

— Да вот — встретили вас!

— Я у Кюба — нередко. Большее чудо, что тут — вы. И вдвоём.

— Я ведь... звонил вам, искал вас!

— Мне передавали.

Серьёзно-печальное выражение выкатистых глаз. Под глазами и в щеках — отёки. В набрякшем лице — тяжесть.

Хоть и видно, а:

— Как себя чувствуете?

Плечи покатые. Весь в линиях ненапряжённых, усталых. В скруглённом бобрике, виски зачёсаны назад, в скруглённой бородке, бакенбардах — седина.

— Да как! Хворь и поросёнка не красит.

Штатская одежда, спокойная благообразность, неторопливость, даже осторожные движения. Средний интеллигентный купец, на избыток денег может быть собирающий картинную галлерею или содержащий пансион для одарённых детей. Не вполне достаточного и роста, рыхловат, комнатная фигура.

А кто же — из первых задир и дуэлянтов России? А кто же вдохновитель младотурок? кто это устроил в 3-й Думе небывалый кружок из думцев и молодых военных?

Средний образованный купеческий посетитель ресторана Кюба. А между тем — душа Москвы. Человек, которого боится царь! Неугасимо ненавидит царица! Однако и сам коронованный славой — и оттого недоступный для кары.

— Судари мои, — подсмехался он, — но вы так беседуете, с конца зала видно, что составляете заговор. И что тут у вас за обед? Если вы с досугом — у меня кабинет заказан, поднимемся? Ко мне, правда, должны придти, но я успею протелефонировать и отодвину.

Лучше и придумать было нельзя. Свечин с Воротынцевым переглянулись.

Если дома ты оставил последнюю разрубающую записку и только ждёшь отхода поезда...

Если ты и ехал в Петербург увидеть этого человека...

Гучков пригласил их к лестнице на второй этаж.

Он не то чтобы хромал, но тяжела была его стопа, раненная в бурскую войну, а теперь скрытая в высоком ботинке на особом каблуке.

40

В ресторанном кабинете — совсем как дома: вся домашняя непринуждённость, но и свобода от дам, мужской деловой разговор, и ни ушей, ни глаз посторонних. А ещё удивительней, по сравнению с надоевшей окопной едой да и с офицерской столовой в Ставке, — то, что здесь предлагалось. На удлинённом столе на шесть персон к их приходу уже расставлены были: осетрина копчёная, осетрина варёная, сёмга розовая в лоске жира, давно не виданная шустовская рябиновка — она существовала, оказывается! она не исчезла вовсе с земли. Да что там, в углу на табуретке стоял под большой раскинутой салфеткой обещающий бочонок со льдом. Весь вид был — нереальный.

Пока Гучков ходил к телефону, Свечин оценил:

— А он — не лицемер. Деньги есть, торговые связи есть, зачем притворяться?

Хотя внизу они уже вычерпали уху — а вот когда оскалился в них настоящий солдатский аппетит, который и три обеда проглотит.

Гучков, воротясь, заметил выражения друзей и добавок весёлости в них. Усмехнулся:

— Что ж, судари мои, Россия-то не обедняла, в России всё есть, только не на своих местах. Правительство с перевозками не справляется, а мы — пока справляемся. Кому чего соблаговолите? А впрочем, я человек больной и неповоротливый, давайте-ка по дружески, распоряжайтесь сами. Виктор Андреич! Георгий Михалыч!

Не забыл. А сколько уже не виделись.

Не понуждая уговаривать себя дальше, пошёл Свечин к бочонку, вынул изо льда бутылку водки да прихватил и вазочку зернистой икры.

— Что там за взрыв на «Марии»? Отчего? — сразу спросил Гучков у Свечина.

— А что, напечатали в газетах? — шевельнул бровищами Свечин.

— Да, в сегодняшних.

Друзья и не видели.

— Это случилось ещё 7 октября, — вставил Воротынцев. — Мне в дороге рассказывали.

— Ну вот, а мы, обыватели, узнаём только из газет, — поморщился Гучков, и это недовольство как нельзя лучше шло сейчас к его лицу.

А Свечин смотрел жестоко:

— Ничего не выяснено. Причина неизвестна. И броненосец потерян. И пятьсот моряков.

— Но странно совпало, — предупредил Воротынцев, — именно в те дни, когда немцы наступали на Констанцу.

— Но есть и продолжение, — черно сказал Свечин. — Только что произошёл крупный взрыв на пароходе в архангельском порту, ещё не напечатали? А там — склад взрывчатых, и могло распространиться на весь порт.

— Ого!

— Да это что ж, единая шайка работает? Что ж, мы так беспомощны? — ужаснулся Воротынцев. Вдруг представил ещё стену этих невидимых опасностей от тайных врагов, о чём на фронте не думаешь, как же ещё с этими бороться?

— С этим правительством! — фыркнул Гучков. — На что оно способно?..

Показалось Воротынцеву верно: с *этим* бороться неспособно наше правительство, да ещё заклёванное.

Сели за одной половиной стола — Гучков на торце, друзья по обе стороны, три прибора оставляя для отсроченных гостей.

Наливал Свечин Воротынцеву и себе, а хозяину — спросясь.

— Губы помочить, — печально отвечал Гучков.

— Да-а, за вашей болезнью мы следили, — с участием кивал Воротынцев. — Вся Россия следила, Александр Иваныч. На Новый год было страшно за вас — в пятьдесят четыре года?!.. Миловал Бог.

Те бюллетени о смертельной болезни в газетах утренних и вечерних дали Гучкову отведать необыкновенного тепла, принять этот голос не партий, но самой России, эту лавину нежданных писем из разных концов страны, от незнакомых людей: живи, Гучков! твоё дело нам нужно! (Потёк и такой слух, что его отравила распутинская банда.) В провале немощи испытал он свою высшую силу: в покорной подначальственной стране, не имея ни чина, ни власти, ни солдат, в облаке чёрных анонимок справа и слева («удавись добровольно, пока мы тебя не убрали»), под полицейским надзором и в болезнях, — единственный и особенный человек на всю Россию, он заставил бояться себя императорскую чету и сменных министров!

Прилив сочувствия ото всей общественной России сразу — это, может быть, и спасло его на одре. Но когда при каждой встрече каждый с жалостливыми глазами спрашивает тебя о болезни — даже и досадно это сочувствие стойко-здоровых людей, кто болезни может лишь вообразить со стороны, удивляясь им. А если болезней у тебя ещё и не одна, но несколько их, как в насмешку, накинуты на твоё неутомимое тело, будто вериги под европейским костюмом, и пока ты грустно улыбаешься в ответ на сочувствия — они, звено за звеном, сжимают и гнут тебя круче, чем ненависть династии или распря с кадетами?

— Весной ещё долечивался в Крыму, — кивнул. — Такой радости доставить Алисе не хочу.

Он зримо гордился, как он насолил императрице.

Гучков в глазах Воротынцева был редкий на Руси характер: он соединял в себе те две смелости, которые обе сразу почти никогда не даются русским: природную им военную смелость и непривычную гражданскую. (Правда, и за собой Воротынцев такое соединение знал.) Да только так и можно сдвигать наши глыбы. И — собран волею был Гучков. Но смутнее с его взглядами: и сшибался с кадетами и как-то сливался с ними. Давно не виделись — и Гучков мог сильно измениться за эти годы.

Неторопливым мягким голосом, через пенсне на Воротынцева внимательно:

— Полком? Где вы теперь?

— Да хуже не придумаешь, на самом левом фланге Девятой, — нахмурился Воротынцев. За дни поездки отвык, будто это где-то *там,* а не у нас.

Малыми бережными движеньями покачал Гучков.

— Не скажите. Есть и хуже.

— Где же?

— Кавказский. Вот еду сейчас. Приватно пишут мне: косит тиф. Медицинской помощи не достаёт. С провиантом и фуражом — плохо. — И с большим значением: — А — почему всё? Почему именно *на них* не хватает?

Не бралось в ум. Почему — особенное почему?

А Гучков так и выдавливал особенное значение, остро отблескивало пенсне:

— Не догадываетесь? *Кому* это месть?

Только тут наконец невразумительно передалась Воротынцеву мысль: Николаю Николаевичу? — царица? Неужели уж от неё так прямо зависит? И неужели такое возможно представить: из-за одного великого князя мстить всему Кавказскому фронту? всем солдатам? Нет! это был наговор, чрезмерность. Гучков в своей ненависти к императрице тоже меру терял.

Неприятно.

А Гучков ещё настаивал всем видом:

— Вот поеду, сам посмотрю. Дай Бог, чтобы преувеличивали.

И взял маринованный грибок, ел осторожно.

Кажется — довольно полон? Нет, отёчен. Всё ещё нездоров, сильно подорвался. Это нездоровье смущало: может быть и сил у него уже нет?

А положение исключительное: центр общественной жизни, с главнокомандующими фронтов запросто, с начальником штаба Верховного — запросто. Если что-то предпринимать — кому бы, как не ему! Но если болен?

— Да! — вспомнил Воротынцев. — Я Москву проезжал — там про вас упорный слух, что вы арестованы.

Гучков улыбнулся, как будто довольный:

— За письмо Алексееву? А вы читали?

Воротынцев подтвердил, однако уже и без восторга. А Свечин —

только кивнул безволосым булыжником головы. Он распоряжался, ещё к бочонку вставал, пил и рябиновку, ел много, сильной хваткой.

Да и Воротынцев. Распускались фронтовые кости. Медлительная тающая солоность сёмги. Как хорошо. А через пяток дней — снова шлёпать по мокрым окопам, толкать людей — опять на безнадёжность. *Думает* что-нибудь Гучков? Не думает?..

А тот сплёл кисти на подъёме заметного-таки животика, пожаловался:

— Вот такая теперь жизнь. Напишешь официальному лицу письмо. Ну, натурально, покажешь одному-двум знакомым, имею я право? Например Родзянке — уж кто престолу преданней? он из преданности хоть и Царское Село сожжёт, если нужно для охраны царской чести. А вот — разгласилось, запорхало, сперва по Думе, там и по России, читают и в Самаре, и в Нижнем. А уж в Москве и в Питере — только что на стенах не развешивают. — Улыбался слабо-лукаво, но от печали всего лица его улыбка не радовала. — Вот и вашу тогда тираду в Ставке — вы бы в своё время записали, показали бы трём друзьям...

Воротынцева и поскребла манера, как Гучков был доволен этой разгласкою, но и приятно было, что вспомнил о его подвиге. Однако никогда б не пришло ему в голову такое, это у них — газетная ухватка.

— Да какое б я имел право? Военная тайна.

— Вот тайной нас и душат, — с оттенком боли, может быть и телесной, вздыхал Гучков. — Государственной тайной. А между тем тогда — ещё не поздно было всё спасти. Ещё верили все — во всё, и Россия была готова всё одним плечом поднять.

А теперь — неужели поздно?.. Коронованный народным доверием должен знать время каждому действию и каждому слову, когда его произнести на всю Россию.

— А хорошо вы их тогда почистили за всех нас. Не жалеете?

— Нисколько. Никогда, — быстрым глазом метнул Воротынцев.

Правда не жалел. Правда.

Свечин держал губы косовато.

Тут вошёл метрдотель уточнить у Гучкова о винах: подавать ли Шато Ляфит к паштету из гусиной печени, Пишон Лонгвиль к баранине по-нивернуазски? Это явно относилось уже к следующему обеду, не их, уж слишком причудливо для фронтового вкуса, то был обед другого класса.

Гучков произносил фразы по смыслу энергичные, а тоном усталым:

— Вот нас тайна и довела, что оставались без снарядов. Я в Четырнадцатом предупреждал — в Думе верить не хотели. Так что справедливо хочет Россия гласности наконец.

Свечин кинул:

— Уж если в России вам гласности мало — не знаю, какую вам гласность.

— А что же? Достаточно? — изумился Гучков.

— А что же — мало? — прокатал и Свечин глазищами, каким никогда не понадобится очков, и пенсне бы посадить — смехота. — Газеты распущены, как ни в какой Франции и ни в какой Англии во время войны. И вполне безответственно. Дутые известия, никем не проверенные, и всегда подрывные. Врут, что мы бесконечно отстали и разоружены, даже не замечают нашего промышленного чуда. На правительство — сплошная брань. Какой номер ни развернёшь — хуже нет, как в нашей стране, и глупее нет наших министров, и всё проиграно, и нет спасенья иного, как передать власть кадетам и Земгору. Это не свобода слова, а просто понос. И всю Россию будоражат, и армию. И все газеты — левые.

Это он верно порубывал, но зачем с таким раздражением к Александру Иванычу? Кажется, Свечина что-то раздражило ещё с самого гучковского прихода — то ли шутка о заговоре, ещё в нижнем зале, то

ли о младотурках, упоминания которых Свечин не любил. Порубывал, не сдерживаясь:

— С вашими младшими братьями кадетами очень гордитесь, как всё колеблете и раскачиваете. Смотрите, на голову бы не свалилось.

Гучков не обиделся, но развёл пальцами, ища у Воротынцева справедливости. Уж если *ему* братья — кадеты, с кем он одиннадцать лет непрерывно сражается... Он знал о предмете слишком многотрудно, чтобы переговаривать плоско. Не по рангу ему было оправдываться перед этими офицерами и походило бы на злословие сказать о Милюкове, что у того нет мужества убеждений и прямодушия действий, что он всё провалит, к чему прикоснётся. Или о 4-й Думе, что она не способна ни сотрудничать с правительством, как 3-я, ни как следует поссориться с ним: поглянется, будто он от обиды, что самого не выбрали. (Да не всегда и сам уследишь за собой: прошлой осенью может быть именно то, что его не выбрали от московского общества даже и в предполагаемую делегацию к царю, что он так пошатнулся в своей же Москве, — может быть и толкнуло его на мятежные шаги и на конспирацию.) Год назад, да чуть ли не сегодня же, 25 октября, предлагал Гучков этим младшим братьям объединиться и вместе идти на последний разрыв с властью, — где там! Их желание стать правительством превышает их готовность рисковать собой. Прошушукались год по частным квартирам, чтобы только сохранить Прогрессивный блок.

Вот какой жест был у Гучкова: он козырьком ладони пригораживал лоб, как бы от лишнего света, от верхней лампы, то ли сосредоточиваясь, — упирался локтем в стол и так сидел.

Но в этой позе энергичный Гучков выглядел потеряннее тех кадетов. Оттого ли, что в своей неукладистой деятельности уже столько раз расшибался о стену?

А Свечин раскраснелся со всей крепостью дюжего подвыпившего человека и не проявлял жалости:

— И они и вы Россию раскачиваете, неизвестно кто больше. Все — патриоты, все — за победу, и безопасно для себя. И эти *письма* — очень не к добру бывают.

Вдвоём со Свечиным уже налаживался разговор! — так Гучков перебил. Теперь втроём могло начаться самое интересное! — так Свечин выбрыкивал. Однако, его резкостью ещё приосветилось Воротынцеву в *письме*: сходство с кадетскими газетами, да. Верно, как бы соревнование, кто крикнет громче.

Он замялся, смутился, не удержал Свечина от его тона. А ещё оттого ли, что они пили, а Гучков нет, — создалась разница температур и громкостей. И без надобности громко Свечин:

— Так и Сухомлинов. Ну конечно он дурак, и мотылёк, и не место ему в военных министрах, но вы уж настолько ничего не жалели, чтоб его сшибить, вы в бою всё забываете, только б ударить крепче.

— Это есть, — слабо улыбнулся Гучков.

— И саму Россию! И при чём этот Мясоедов, никакой не шпион? Чтобы только сбить министра — во время войны играть шпионажем вокруг военного министерства? Как это можно?

— Он — доказанный шпион, — построжал, похолодел Гучков.

Воротынцев перехватил, что Свечин распаляется тут и спорить. Сам он — толком о мясоедовском деле не знал, в газетах читал глухо, и даже интересно бы узнать, — но только не дать сейчас разломаться всему разговору!

— Важней всего, — остановил он Свечина, — не кого Гучков разоблачает, а что́ Гучков реально сделал для армии.

Но Свечин, всегда скептически выдержанный, уж если распалится, то как никто, не обуздаешь:

— Да и с военно-промышленными комитетами меньше бы вы цацкались, Александр Иванович. Всё конвенты завариваете.

Гучков отнял козырёк ладони задетым жестом:

— А кто же «промышленное чудо» вам делает, если не промышленные комитеты? Своим участием в них — я горжусь.

— А почему за всё дерёте в двадорога? Почему казённая пушка стоит 7 тысяч, а ваша 12? Всей общественностью проталкиваете через министерство высокие цены. И строите заводы, где и не нужны, только бы казённые погубить. А железнодорожными планами 1922 года — зачем ваше дело заниматься? А социал-демократы зачем там сидят при вас? Неужели о победе радеют? А не вынюхивают, как всё взорвать?

— Рабочая группа? В том и замысел, что лучше пусть они около меня сидят помощниками и консультантами, чем по улицам с красными флагами. Что же делать, если власть... Я знаю эту власть: правительство и само ни к чему не способно, и не желает протянутой ему помощи. При этой власти, если не вмешаться нам, — победа будет невозможна.

Что он хотел сказать — «не вмешаться»? Или — только о промышленном комитете? Воротынцев зорко следил, хотел проникнуть, ничего не пропустить. Но опять его скребануло — а! цель — победа! Но «всё для победы» ещё не значит — для России. А если по гучковскому же письму война так безнадёжно организована — как же сметь её продолжать?

— Да вы сядьте на место правительства — ещё взвоете! — Уже и стул был Свечину неподвижен, он закачался на задних ножках. — Что б за правительство, грош бы ему цена, если б оно вам во всём уступало? — хоть там самые реакционные министры сиди, хоть самые либеральные. Если министры — то и должны управлять они, а не парламентские ораторы и не промышленные комитеты. А у вас каждый самовольный съезд — только чтоб давить на правительство и давай четырёххвостку! Ниспровергать власть — это у вас выполнение «гражданского долга перед Родиной».

Как круглый сильный камень свалится, скатится под самые ноги и перешибает путь, так и Свечин сегодня перешибал всю желанную, задуманную встречу с Гучковым. И осадить его было трудно, потому что разогнался, пьянея, и потому что, чёрт, во многом прав. Хотя и: правительство действительно бездарно, вот в чём ужас.

Но, как бы не замечая его резкости, Гучков отвечал выдержанно:

— Однако и организованной общественности, если она состоит на службе родине, естественно требовать себе и политических прав.

Свечин с разгорячённой мрачностью качался на задних ножках стула:

— Да просто почувствовали, что власть без опоры, — и все лезут захватывать. Ослабла власть — значит и хватай за горло. Во время войны — немедленно менять им государственный строй, во как! С ума посходили!

Свечин отвечал Гучкову — а так получалось, что — Воротынцеву? Чего Воротынцев ещё не высказал, ещё не предположил вслух — а Свечин уже отвечал?

Да не строй менять, а... А что именно менять? При неизменном, допустим, монархе — а правительство новое, — что ж, из кадетов? Не для них же стараться. Вот это главное бы тут обсуждать, а разговор сбивался. Так удачно исправленные обстоятельства встречи с Гучковым нельзя было дать упустить, нельзя разойтись впустую! Но положение Гучкова было несравненно, и это ему решать, заговаривать или не заговаривать *о таком.*

Гучков укрепил пенсне при выкатистых глазах:

— Но выиграть войну с этим бездарным правительством — действительно невозможно!

Ну, конечно, он *думал*! У такого человека не могло не зреть в голове что-то переворотное!

— Чем же выиграть? — Свечин с раскачки пристукнул передними

ножками стула о пол, как зубами, — тем, что искры по соломенным крышам бросать?

Тут внесли бульон и блюдо горячих пирожков. Сразу запахи — ах! Кажется, только что по ухе съели офицеры, но теперь и по чашке огненного бульона охотно наливали из судка. Да под бульон хватанули ещё отвычной ледовой водки. Хор-р-рошо!

Это всё — примиряло. Свечин перестал качаться.

Гучков тоже, с удовольствием нездорового, потягивал горячий бульон.

— Нет, конечно, — говорил он, когда лакей вышел. — Я именно против всякого поджога. Как раз этого и не понимают кадеты: что революционную мысль нельзя швырять в массу.

Вот это Воротынцеву очень нравилось: Гучков не ждёт сотрясений пассивно, как кадеты, но хочет активно их предотвратить. Вот на это он и надеялся с Гучковым.

Свечин — примирительней:

— Чего-то они, Александр Иваныч, не понимают, а что-то лучше вас. Я по себе скажу, что иногда мы сами не отдаём себе отчёта, а проводим чужие мысли. Просто незаметно находимся в их влиянии. Вам кажется — вы развиваете независимую смелую там программу, — а на самом деле примитивно идёте по какому-нибудь масонскому замыслу. Вы сами, честно говоря, хотя всё равно не скажете, — не масон?

Шутил — а и не шутил, досматривал.

Но вид у Гучкова был откровенный, лоб ясный. Тоже усмехнулся:

— Честно говоря, мне лично не предлагали, или когда-то несерьёзно. Хотя чувствую, что кто-то где-то зачем-то вступает. Но я б никогда не вступил. Я — монархист, и уже поэтому не мог бы быть масоном. Масонство — это моральная нечистота: смотреть людям в глаза и обманывать их. Немужественная игра. Хочешь действовать — действуй прямо, открыто, а зачем по закоулкам, в масках? Мне кажется, историю можно делать и объяснить без масонских тайн. Добиться сдвигов в ней — прямыми, ясными действиями.

Прекрасно сказано! Воротынцеву очень понравилось. А если уж — Гучкову не предлагали, то все эти неопределённо-смутно-страшные масоны сразу теряли в объёме, сжимались в уголок.

А у Свечина была манера, выпив и в кругу своих, становиться особенно перечным и жёстким, высказываться гораздо дерзей, чем он разрешал себе на службе:

— Всё равно, Александр Иваныч, не радуйтесь. Вы и безо всякого вступления, совсем невольно и бессознательно можете отстаивать не масонскую линию, так еврейскую. Вам кажется, что вы самостоятельны, а вы...

— Я-а-а?

— Да-а-а! У евреев такая хватка есть: ни одного важного узла действий, ни одной важной личности не упустят, чтобы не пытаться её направить. Уж чего там Распутин, а вошёл во влияние — и его обсели. А уж вас!.. Ну, проверьте, в вашем отношении к правительству какая с ними разница? А им просто — наплевать на русскую судьбу.

Гучков поставил твёрдо локти на стол.

— Как раз тут одна из границ между кадетами и нами.

— Да какая же? — задирал Свечин.

— А вот. Для кадетов еврейский вопрос — почти первый политический вопрос. Он и партийную программу у них открывает. Кадетов послушать, так главная цель войны — это еврейское равноправие, а не существование самой России, чтоб устояла она вообще. Тут все кадеты как в одной капле. В трёх Думах они не давали провести крестьянского равноправия без еврейского, так и утопили! Кадеты в голову не вберут, что эти два равноправия для России всё-таки не равно спешны. Не равно задолжены. А мы...

— А вы с ними не меньше носитесь! — большой ладонью отмах-

нулся Свечин. — Все адвокаты — евреи. В Думе в журналистских ложах одни евреи сидят. Если они так угнетены, как же им доверено выражать и внедрять общественное мнение России? Несколько хилых правых газет издаются на *тёмные* деньги, а вся либеральная пресса — на *светлые* деньги? Откуда эти деньги? Да еврейские! Вот — и направляют газеты. Посмотрите, кто издаёт. Черта оседлости второй год не существует, все города и столицы ими переполнены. С этого года и университеты есть — где шестьдесят процентов евреев, где восемьдесят. И торговлю им распахнули, вся торговля через них. Завод князя Путятина! — кстати, плохие шрапнели, — а это выпускает Рабинович, заплатил Путятину за имя. И сколько таких заводов у вашего промышленного комитета? А еврейские сахарозаводчики гонят русский сахар тайком в Германию! Где к чёрту загнаны? Они — пружина напряжённая. Она вот-вот отдаст — и удар будет страшен!

Гучков удерживал невозбуждённый тон, поднял останавливающий палец:

— Пружина отдаёт, если на неё слишком жать. А не надо жать.

— Вот-вот, — опять покачивался на стуле, опять качался на своём упрямый, насмешливый, невозможный Свечин. — Вы их и приглаживаете. Вот вы с ними вместе громко разносите и правительство и Государя — а о *них* вы посмеете вслух промолвить хоть осьмушку того? Да никогда! А почему? Вот это и называется — страх иудейский! Загнаны! Они нам ещё на голову сядут! Этот избранный народ на чью палубу всходил — тот корабль бортами черпал. Так и Россию погубят.

— Нет!! Нет! — вмешался тут Воротынцев. — Так не поворачивай. Если мы теряем свой путь и катимся не туда — то сами и виноваты. — Досадно, вся редкая встреча поворачивалась вхолостую и кончится ничем. — Я много лет замечаю: еврейский вопрос — это такой колючий растопырчатый вопрос, что его и миновать ни на какой дорожке нельзя, и решить нельзя, и никто не остаётся равнодушным. А между тем...

Гучков снял пенсне и протирал его, как бы терпеливо именно его рассматривая. Без пенсне его лицо было и открытее в болезни и печали, но и глубже:

— Тонкая особенность еврейского вопроса, что невольно поддаёшься и не можешь не признать, что он — самый важный, самый острый, самый первый и характерный. Самый определяющий для суждения о людях, об их политическом и даже нравственном лице. И что только после решения еврейского вопроса дальше легко разрешатся и все государственные, — улыбнулся Гучков. — Так вот, кадеты поддались, и всё это приняли. Но и вы, Виктор Андреич, поддаётесь с другой стороны.

Нельзя уже было проще их оторвать от спора, как подкатить скорей к простому решению. Подхватил Воротынцев, быстрей проговаривая:

— По еврейскому вопросу все спешат занять только одну из двух самых крайних позиций. Или: евреи — это невинно страдающая масса благородных характеров, которых надо как одно целое непременно любить, и даже отдельных недопустимо порицать, ибо упрёк разложится на всех. Или: это — сплошь тёмные злобные заговорщики, которых как единое целое можно только ненавидеть, и подозрительно, когда любят хоть отдельных из них. И всякая попытка ввести оговорку, не сплошь нежно любить или не сплошь страстно ненавидеть, отталкивается с негодованием каждой из сторон. Но в тысячах вопросов бывает плодотворна лишь средняя точка зрения. И неужели правда, господа, тут невозможно устоять посередине? Вот я считаю, что я стою прочно посередине. Я — решительно никогда не соглашусь отдать Россию евреям под снисходительное руководство, даже только интеллектуальное. Но я никакого зла против них не имею и никакого желания их притеснять.

— Значит — послабить? — громогласил Свечин с непокидающей

жёсткостью. — Так сразу они на голову и сядут! Вот в этом и секрет, понимаешь? — они не могут и никогда не согласятся по-равному. Как только им послабишь — сразу на голову!

— Мне кажется, — сосредоточился Гучков, разглядывая своё пенсне как самую большую загадку, — и я тоже занимаю среднюю позицию. Я... и мои некоторые единомышленники... мы понимаем вот как. Евреи — нам посланы. Не во всякой стране их шесть миллионов, а у нас вот есть. Зачем-то надо было, чтобы жребий русский и еврейский переплелись. Расплетутся ли когда или нет — не знаю. Чтобы злорадно назвать, как Герценштейн, пожары усадеб — «иллюминациями», надо быть, конечно, чужой душой. То, что для нас боль, тёмные мужики не понимают, что делают, Россия жжёт и громит сама себя, — а для депутата русского парламента... Ну, что о покойном... Затем, я не стану утверждать, что евреи в целом нас любят. С другой стороны признаюсь, что и я их, в общем, больше — не люблю. Но: они — нам посланы. И поскольку государство — наше, мы должны это переплетение решить приемлемо для всех. В Европе? — с ними обращались жёстче, чем у нас. Черта оседлости? — когда была, нисколько им не мешала засилить торговлю, промышленность и банки. И наша страна во время войны зависит — от международных еврейских денег. И в периодической печати они всесильны, да. И художественная, и театральная критика — в их руках. И невозможно пустить их в офицерство, это опасно для нашего духа. Впрочем, они туда и не стремятся. И нельзя дать им больших земельных владений. И тем не менее это не значит, что мы должны их притеснять.

— Вы и не заметите, — горели чёрные глаза Свечина по обе стороны крупного сильного носа, — как всё уступите. Вот так, как в промышленных комитетах сбились от помощи фронту на расшатывание власти. Так вы — и бросаете искры по крышам, Александр Иваныч.

Как человек, не глухой к поиску своих ошибок, Гучков не спешил запальчиво возражать, а в одной руке всё так же держа витиеватый защем неразгаданного пенсне, другой ладонью опять перегородил лоб, может быть не от света, а от громкого собеседника. И как бы ещё проверял сам с собой:

— Но не можем мы отказаться от освободительного движения из-за того, что и евреям оно нравится, и они к нему примкнули...

И Воротынцев:

— Ты тоже как кадет, только наоборот. Улупился в крайность: евреи, больше ничего не видишь. Об этом я и в Буковине мог собеседников набрать. Да я тебе несколько вопросов назову, и все важней еврейского. Ехал я две тысячи вёрст, встретил вас обоих так неожиданно, чтобы...

Чтобы?

Гучков освободил от козырька, приподнял на Воротынцева немолодые, неоживлённые карие глаза с выкатом, пожалуй тоже нездоровым, но самый взгляд — взгляд бойца.

Отчего он так сразу и внимательно посмотрел? Он неспроста посмотрел.

...Чтобы?..

Да такие, как Воротынцев, — неужели ж ему не нужны?

Хотя закралось теперь: а под то — понимает Гучков то или не то?..

...Чтобы?

Да господа, да неужели же мы, такие решительные, умные, энергичные люди, — и не сумеем ничего придумать? не сможем спасти дела?..

Внесли большим куском ростбиф, обложенный зеленью.

Гучков не стал его есть. А приятелям — отрезали, и они стали трудиться.

Пока лакей был — помолчали, но и когда вышел — что-то разговор

не возобновлялся. Свечин вдруг замолчал так же круто и бесповоротно, как перед тем говорил. Ел с удовольствием. Гучков очевидно берёг аппетит на следующий обед, или вообще мало ел. Чуть-чуть пригубливал красное вино — и тоже молчал. Воротынцев — не мог говорить прямо, но надо было поддержать в том направлении:

— А интересно, Александр Иваныч: Алексеев — ответил вам на ваше письмо?

Гучков задумчиво постукивал снятым пенсне по пальцу:

— Нет. Но. За него ответил Штюрмер.

— Как так?

— От имени Верховного запретил мне въезд в Действующую армию. Даже к санитарным поездам. Ну, тем более, конечно, в Ставку. И в штабы фронтов. Это они хорошо рассчитали удар. — Щурился. — Без армии я — что?

Не удержался Свечин, и тут поперёк:

— А вы бы на их месте как? Были бы вы глава государства, и вот некий частный деятель пишет начальнику штаба ваших вооружённых сил, что ваша дрянная слякотная жалкая власть гниёт на корню, — и вы б его пускали дальше армию разлагать? Они ж вот вам на Кавказский не препятствуют...

Гучков не спешил возразить. Без пенсне лицо его было безоружное. Складывал усмешку или жаловался:

— Предупредил Штюрмер и о возможности высылки из столицы. А уж следит за мной департамент полиции — наверно, ни за какими бомбистами никогда... По телефону и в письмах блюду осторожность в именах. С друзьями, с братьями кое-кого зовём кличками. Не удивлюсь, Георгий Михалыч, что и вы уже на заметке, если несколько раз телефонировали. На всех посетителей дома ведётся реестр. Вот сейчас, не сомневаюсь, за моим паккардом гнали филёры на лихаче и теперь у подъезда дежурят.

— Ну, Алексееву тоже досталось, не думайте, — упрямился Свечин. — И с Государем у него, конечно, было объяснение.

— Как он может переписываться с таким мерзавцем, скотиной, коварным пауком? — грустно через силу улыбался Гучков.

— Наверно. Примерно. И Алексеев, надо думать, отрёкся от вас.

Гучков поднял брови. Опустил. Узнавая. Что ж, политическая борьба — она такая и есть.

— И заболел во многом от этого.

— Ну не совсем так, ты говорил!

— Про болезнь я слышал, — кивал Гучков.

— И теперь, наверно, уйдёт в длительный отпуск, лечиться.

— В отпуск? — насторожился Гучков. И сразу: — И кто же вместо него? — С нескрываемым значением, неспроста.

Да, в самом деле: кто же? Ещё бы не важно.

Свечин любезно:

— Открою, что слышал, только конфиденциально. Могли бы поставить, конечно, любого остолопа, но кандидатуры, по слухам, обсуждаются такие: Головин или Рузский.

Головина?.. Неужели подымут? Нашего?..

Гучков насадил пенсне. Оно заблестело повеселей:

— Головин — это бы замечательно.

Для Воротынцева каждое слово Гучкова шло по другому разбору: замечательно? А — для чего? В каком смысле?

— Корпусами смело будет двигать, — предсказал. — А сам будет двигаться очень осмотрительно. Он сильно изменился, господа. Он там у нас сейчас, генкварт Девятой. Он всегда должен действовать с дозволения начальства, иначе его способности как бы подавлены.

— И надолго это? — спрашивал Гучков очень заинтересованно. — А вы, Георгий Михалыч, в этом случае как? Не вернётесь в Ставку?

Догадался... Воротынцев энергично потёр щётку бороды, выражая глазами больше, чем словами:

— Во-первых, захочет ли Головин? И — он ли ещё будет? Во-вторых, окажется потом недоволен Алексеев. А в-третьих — нужен ли я там, Александр Иваныч? Там ли я нужен? Как это правильно понять?

И смотрел на Гучкова с ожиданием и надеждой.

— Рузский? — перебирал тот как своих подчинённых. — Вяловат. И слишком эгоист. А — кто ещё может быть?

Покинуло Гучкова бездеятельно-грустное, гражданско-домашнее выражение. Собрался он, поживел. Сосредоточился.

— Да что ж вы не курите, господа? Вероятно ведь курить хотите.

А у них обоих давно пальцы чесались, но щадили Гучкова. Теперь Свечин дотянулся форточку открыть. Задымили, Свечин трубку. Развалились.

Гучков тщательно прошёл тугой крахмальной салфеткой по губам, вокруг губ, под усами, по верху бороды. Отложил.

Поднялся. С рукой за бортом сюртука походил, едва заметно прихрамывая, по небольшому пространству, несколько шагов тут было. Он на глазах твердел и даже молодел.

Снова сел. Руки собрал в замок перед собой.

— Господа. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше молчание во всех случаях? Возьму с вас слово чести?

Да, конечно, разумеется.

И — чуть задорно голову назад, знаменитый дуэлянт. Седина у него только чуть прорисовалась — по переду бобрика и по краям бороды.

— Господа, я не вижу препятствий поделиться с вами соображениями, что́ ещё не упущено... совершить.

Так! Дождался Воротынцев часа своего! Не опоздал. Был здесь.

Гучков больше на него и смотрел.

С сознанием своей славы и власти в этой стране.

И с огоньком того риска, той вечной потребности в риске, что вела его черезо всю жизнь.

— Я хотел бы обсудить с вами: что должны делать патриоты, если видят, как в тяжкий час родину направляет режим фаворитов и шутов? Что должны делать смелые люди с положением, влиянием и оружием? Люди, которым всё дано, но с которых и спросится историей?

41'

(АЛЕКСАНДР ГУЧКОВ)

Фёдор Гучков, дед Александра, был крепостным дворовым человеком малоярославецкой помещицы. В конце позапрошлого века, тринадцати лет, он попал в Москву и был отдан учеником в суконную лавку за 20 копеек в месяц (гривенник помещику, гривенник ему). Женился на крепостной, выкупил себя и семью, устроил в Преображенском шерстяную фабрику с английскими станками. В семье считалось, что мысль поджигать Москву с подходом Наполеона принадлежала ему. Всё сгорело — но он всё возобновил и расширил. Однако ещё при жизни оставил фабрику и торговое дело сыновьям, а сам был сослан в Петрозаводск за упрямое старообрядчество. Сын его Иван, полюбив замужнюю француженку Корали Вагез, переодевался кучером, чтобы проникнуть в её квартиру на кухню, — и так увлёк её, увёз от мужа и женился, всем этим порывая со старообрядством. От того брака было четверо сыновей, среди них и Александр. Хотя и этот не вовсе выбился из плоти московского купечества, состоял членом банковских и акционерных правлений и директоратов (впрочем, не был богат, наследство уступил брату Фёдору, и отец не считал его хозяином), — жизнь Александра сложилась необыкновенно для его рода и окружения, лишний раз убеждая, что наш характер и есть наша судьба.

Уже гимназистом он испытал немалые общественные страсти. В семье его, как

бывшей крепостной, было поклонение Александру II — и после выстрела Засулич Саша Гучков в школе заступился за правительство: стрелявшая подняла руку на доверенное лицо Государя! Соученики побили его за это. Но вскоре же понял он и сам неотвратимую прелесть террора: от позора Берлинского конгресса, английского флота в Босфоре, Саша решил своей рукой убить Дизраэли за антирусскую политику, во имя чести России. Купил револьвер, учился стрелять, готовил деньги на побег в Англию — и восторгался счастьем пережить казнь за Россию. Но доверился брату, брат выдал отцу — и всё разрушилось. (Через тридцать лет главою нашей думской делегации в Лондоне остановился перед памятником лорду Биконсфилду: «А ведь ты мог погибнуть от моей руки!»)

Окончив московскую гимназию с золотой медалью, затем и московский университет «кандидатом» (то есть тоже с отличием), он ещё пять лет ездил в Германию доканчивать там образование, слушать семинарии философские и экономические, и притом написал несколько работ — об общественном землевладении, о страховании, о хозяйственной жизни древнего Новгорода, и доискивался (как бессознательно предчувствуем мы сами себя): участвовала ли Екатерина в государственном заговоре Мировича? В 23 года Гучков сдал в гренадерском полку экзамен на прапорщика, и это не было простым отбытием повинности университетским человеком, как и в 26 лет не случайно было избрание почётным мировым судьёй Москвы, в 31 — членом московской городской управы: гражданская и военная деятельность пересеклись и переплелись на жизни Гучкова — парламентского оратора, государственного человека, армейского застойника, солдата, отличного стрелка.

Можно понять, что очень рано и с болью он осознал распространённое русское интеллигентское свойство — не шибко любить *делать дело*, больше о нём разговаривать, спорить, а если уж и взяться, так не доделывать до конца, прощать себе и другим оставшиеся вершки. Может быть от крепкой крестьянско-купеческой натуры ощутил в себе Александр Гучков способность и волю: делать и доделывать. И в то время, как бывший его университетский товарищ Павел Милюков всё больше сладости находил в диспутах и лекциях, Гучкова из библиотек и аудиторий срывало к студенческим дуэлям в Германии, к бою, и к делу. Никогда не свидетель, везде — участник, и даже сорви-голова.

Услышав о голоде в России, покидал он берлинский университет — и кидался в нижегородскую глушь: стать волостным писарем и кормить деревню. Резали турки армян — Гучков кидался туда. Опасна охранная стража на сооружаемой Манчжурской железной дороге — Гучков, покинув муниципальную деятельность в Москве, уже там, служит офицером и даже ищет боевых столкновений. Отсюда *близко* Тибет — и он странствует к заветным местам его. Его мучит поиск грандиозного. Началась далёкая романтическая бурская война, кто-то волнуется над газетными депешами, кто-то поёт «Трансвааль в огне» — Александр Гучков с братом Фёдором уже добровольцами среди буров, и даже храбрые буры удивляются его самообладанию в бою: под картечью он остаётся распутывать постромки зарядного ящика, высвобождая мулов из гибели. За все эти годы не раз приходится ему писать прощальные письма родителям на случай своей неизбежной смерти. В бурской войне едва не потеряна нога, осталась хромота на всю жизнь; с 26 лет уже мучает его грудная жаба. Но вспыхивает восстание македонских четников против турок — и вот уже Гучков едет добровольцем туда. Лишь на 41-м году беспокойный этот человек женится. 42 года ему — и он уходит на японскую войну, хотя не с винтовкой, а уполномоченным Красного Креста и московской управы (впрочем, не минует его и короткий японский плен).

И, может, ещё и на том не унялся бы он отзываться на дальние мировые события, если бы самые главные события (тогда ещё никто не прозревал, что — всемирные) не заклокотали бы в самом сердце России. И всё, что делал Гучков до сих пор, загорался и кидался пособлять, — оказалось лишь брожением молодым, лишь подготовкою мужа к событиям государственным. Теперь-то пришлось попробовать, что́ сдюжит он для России.

Уже довольно было имя его известно, и по Москве заметный был он человек. Воротясь из Манчжурии весною 1905, узнал он, что от московской городской думы избран на майское земское совещание. Там уже всё более выдвигались не собственно-земцы: Петрункевич, Милюков, Родичев, братья Долгоруковы. Совещание поразило приезжего накалом своей революционности. Хотя и избиралась депутация к царю

посоветовать ему конституцию, но многие жаждали, чтоб отказано было в приёме, и можно было бы неогляднее разворачивать революцию. Умеренная шиповская группа, и в ней Гучков, осталась в порицаемом меньшинстве. Но Гучкову, не избранному в депутацию, как раз во время съезда пришло личное приглашение в Петергоф к Государю (наслышанному о деятельности Гучкова в Красном Кресте и о спорах с Милюковым). Был принят, беседовал целый вечер, при встрече милостиво присутствовала государыня (далеко не предвидя в этом купчике своего будущего лютого врага). Это было сразу после Цусимы и ещё до приёма земской депутации. Гучков, как он понимал себя и самодержца, дал советы мужественного бывалого человека — человеку засидевшемуся, отгороженному от жизни и робкому: не дать внутренней слабости одолеть Россию, ни в коем случае не идти на перемирие с Японией, где игра внешних держав решит русскую судьбу; но, уж ввязавшись, продолжать стоять против Японии, а в России быстро, без сложных выборов, собрать Земский Собор — от дворянства, крестьянства и горожан, явиться туда самому и выступить смело, что в прошлом было много сделано ошибок, они не повторятся, но сейчас не время реформ, а время — окончить эту войну, при единстве страны не может Россия проиграть Японии — и не проиграет! В Земском Соборе будет почерпнуто недостающих сил, это передастся и армии, она воспрянет духом, передастся и Японии, все расчёты которой — на общественный развал в России. И несколько раз Государь в раздумьи повторял: «Да, вы правы. Вы совершенно правы.» (И в тех же днях советчику противоположному — что Земский Собор только усилит революционное движение, продолжение войны грозит России гибелью, и надо немедленно заключать мир во что бы то ни стало — Государь согласно повторял: «Вы совершенно правы. Именно так надо поступить.»)

Обласканный Гучков в то лето был позван и на узкое петергофское совещание по выработке проекта Думы. Все там предлагали выборы сложно-сословные, чтоб не упустить руководства, только Шипов и Гучков — общенациональные (но — ступенчатые, по степени достоверной известности кандидатов избирателям, отнюдь не прямые).

Если открыть Верховной власти разумный путь — отчего б она не пошла этим путём? Нет! Безмысло и бездарно ту войну начав — бездарно и невыгодно спешили только вытянуть ноги из проклятой Азии. Внутри России вместо смелых шагов всё лето перебивались малыми, трусливыми и опозданными, а когда помнилось, что вода уже под горло — выбросили сумбурный Манифест 17 октября. Манифест был вырван не потому, что у власти не было физической силы (она — была, и проявлена через два месяца при подавлении московского вооружённого восстания), — но коснеющая царская воля испытывала перерывы уверенности, и в такие перерывы от неё бралось всё, что угодно.

Осудили Манифест правые, осудили и левые. Настроение общества было: царь задрожал? уступает? — так вырвать большее, а взятое — ничто! (Когда в ноябре Гучков предложил земскому съезду осудить насилия и убийства как средства политической борьбы — «конституционное» большинство съезда отказалось принять такую фразу!) Кадеты отказались войти и в «полуобщественный» кабинет Витте.

Отказались и приглашённые к тому Шипов, Гучков, орловский предводитель Стахович, князь Евгений Трубецкой, ибо сочли, что зовут их для показа, перемешать со старыми администраторами, но не реально обновить политику. Шипов же настаивал, что они — меньшинство, а большинство — левые, и именно их надо звать, чтобы общество поддерживало правительство.

Однако за совместные поездки из Москвы в Петербург и обратно, то на консультации о законосовещательной Думе, то на переговоры о вхождении в кабинет, Шипов, Гучков и Стахович в долгих беседах обнаружили и утвердили основания новой партии.

Вослед Манифесту сразу заплодилось много партий, тем мельче, чем их больше. Шиповская группа этой проблемою партийной группировки была застигнута врасплох: она вообще ведь была против всякой политической борьбы. Теперь и конституционное устройство и партии приходилось принимать как неизбежное зло, всё равно уже введенное волею монарха. Не оставалось другого пути, как принять и свою долю тяготы в новом устройстве. С другой стороны, единственное практическое расхождение с земским большинством — конституция, первенство правового начала, всё равно уже было введено, так что практически Шипову ничто не мешало бы вступить

и в партию кадетов. Но разделяла, как он говорил, чуждость кадетов основам народного русского духа.

А Гучков и был за конституционную монархию, именно такую, как обещал Манифест, с ответственностью правительства перед монархом, а не партиями. Он не одобрял наступательного настроения левых земцев, кадетской требовательности парламентаризма для парламентаризма. Для него Манифест был хорош как он есть, и только опасался Гучков, как бы власть не стала выкрадывать его по частям назад.

И согласились Шипов и Гучков, что пришло время политически объединить всех тех, кто хочет осуществить Манифест — утвердить новый государственный порядок, но при сохранении авторитета монарха; кто одинаково отвергает и застой и революционные потрясения, у кого есть это ощущение исторической глуби, вековой устойчивости, которую надо сохранить в её новом развитии. А для того создать не партию, но *союз* партий — чтоб избиратели не группировались мелко, разномыслием по частным вопросам лишь усиляя партийную рознь, но — единомысля в основном. Первый такой союз — не против правительства, но в поддержку его.

В начале ноября 1905 шестнадцать основателей объявили о «Союзе 17 октября», приглашавшем в себя мелкие партии с сохранением их программ. *Не* могли войти только: сторонники неограниченного самодержавия и сторонники демократической республики. Средь главных положений программы нового Союза были: все гражданские права и неприкосновенности; уравнение крестьян в правах с другими сословиями; признание государственных и удельных земель фондом земельной нужды; допустимость и принудительность отчуждения частных земель, но при справедливом вознаграждении и в исключительных случаях; для рабочих — страхование, ограничение рабочего дня и даже свобода стачек, но при условии, чтобы не страдала жизнь прочего населения и государственные интересы; прогрессивный прямой налог (чем богаче, тем больше платит) и понижение косвенных.

Устроители «Союза 17 октября» торопили скорейший созыв Думы — в мечте, что тогда и начнётся тесное единение монарха с народом. А между тем быстробегущие недели накатывали на Россию сотрясения и испытания: пьяный мятеж в Кронштадте, флотский мятеж в Севастополе, волнения в губерниях, убийства, террор, паралич всей Сибири, вооружённое восстание в Москве, а в ответ — «режим чрезвычайной охраны» вместо «незыблемых основ гражданских свобод», обещанных Манифестом: левые круги и правительство, как бы наперехват, друг друга выпереживая, сшибали и топтали тот злополучный Манифест. И «Союзу 17 октября», всю свою деятельность полагавшему от Манифеста, приходилось спорить о своём заветном ещё прежде, чем Союз учредился вполне.

Эту среднюю сложную миротворную линию устроители объясняли так:

> Шипов: Кому дорого мирное преобразование государственного строя, должен с появлением Манифеста признать революционное движение в стране законченным и доброжелательными усилиями содействовать проведению новых начал. Мы отмежёвываемся и от левых, и от правых партий. От правых, потому что они силятся сохранить старый приказный строй, приведший нас к Цусиме. От левых, потому что весь русский народ привержен идее монархизма, а не деспотизма олигархии или массы. Монарх — выше всех политических партий, и свобода и право каждого гражданина наиболее обеспечены при конституционной монархии. В отличие от левых партий мы считаем, что человек должен быть не только свободным, но и проникнут нравственным идеалом.

Здесь председатель ЦК «Союза 17 октября» сильно приподнял, приписывая свою высокую программу разношерстному соединению, составившему Союз. Для Шипова задачи нового Союза совпадали с его давней мечтой:

> устранять из политической борьбы раздражение, предвзятую подозрительность, взаимное недоверие; политическую борьбу сводить по возможности к доброжелательному выяснению спорных вопросов, к установлению соглашений, приемлемых для спорящих сторон.
>
> Гучков: Мы не можем относиться отрицательно к тому, что создано старой Россией. И монархическое начало тоже должно быть перенесено обновлённым в новую Россию.

В Охотничьем клубе на Воздвиженке, где триста прекрасно одетых людей слу-

шали уверенных ораторов, съезд *октябристов* как будто мог торжествовать: сложная средняя линия общественного развития была ясно выражена в речах и неоспоренно принималась аудиторией. Но когда вскоре начались выборы в Думу — мелкие партии и их кандидаты легко откалывались от «Союза 17 октября», вступали в любые беспринципные блоки, лишь бы быть избранными. И собранная силища Союза оказалась трухой. А общество, всё более обозлённое и убеждённое, что никакие соглашения с *этой властью* невозможны, не отдавало голосов странным проповедникам какой-то средней линии и соглашения. И на выборах в Первую Думу в начале 1906 года октябристы потерпели сокрушительное поражение, даже сами Шипов и Гучков не были избраны. И как будто зря они эти месяцы силились воплотить свои высокие принципы в послушное политическое тело.

То был кризис для обоих, но, при разнице возраста всего в 11 лет, для Шипова — переломивший его общественную деятельность на нисходящую ветвь, для Гучкова — взмывший его жизнь по восходящей. Не хочется сказать, что от поражения, но от сошедшихся нескольких причин на том они и разошлись, и даже отчуждились. Вскоре после неудачных выборов Шипов уступил Гучкову пост председателя «Союза 17 октября». Была в их расхождении смена эпох, но было и то, что по законам собственной жизни мы должны, отыграв своё, не задерживаться на сцене. Шипова это настигло в пятьдесят пять лет, счастливы те, кого настигает в семьдесят, а иные и в тридцать отжаты.

На этих обзорных страницах мы так много занимаемся Дмитрием Шиповым не потому, что он повлиял на ход русской истории, но именно потому, что с началом самых жестоких сотрясательных лет не повлиял нисколько. Его умеряющие благотворные действия прежних тихих лет, принесшие и успех его медленным основательным замыслам и всероссийское влияние ему самому, — с началом общественной тряски сменяются чередой поражений, честных самоотказов и полным задвигом в бездействие, отбросом в бессилие. Именно потому мы так внимательны к урокам Шипова, что за четверть века своей общественной деятельности он как будто ни на градус не уклонился от стрелки нравственной идеи, вышедшей из центра религиозного сознания, кажется ни на одном шаге не был озлоблен, или разгорячился бы борьбой, сводил бы с противниками счёты, или был бы лукав, или корыстен, или славолюбив, — нет! он своим спокойным обстоятельным умом прилагал нравственную идею к русской истории, и не где-то на задворках, но на самых главных местах, и в самые опасные переломные месяцы для России вызывался к Государю для советов, для получения министерских постов, а в июне 1906 — и поста премьер-министра. И — все его советы оказались не принятыми. И — ото всех постов он отказался, смечая соотношение сил и настроений, — странный удел столь многих русских деятелей: по разным причинам, почти всегда — отказ...

Урок Шипова напряжённо дрожит вопросом: вообще осуществимо ли последовательно-нравственное действие в истории? Или — какова же должна быть нравственная зрелость общества для такой деятельности? Вот и 70 лет спустя и в самых незапретных странах, веками живущих развитою гибкой политической жизнью, — много ли соглашений и компромиссов достигается не из равновесия жадных *интересов и сил*, а — из высшего понимания, из дружелюбной уступчивости сделать друг другу добро? Почти ноль.

Как при ничтожном загибе тропы мы уверенно видим свой путь прямым, и лишь нескоро обнаруживаем, что описали петлю, — так и в политической жизни Шипова за последний слишком бурный год был совершён загиб, ему самому не заметный. Ещё год назад он считал для России конституцию губительным путём. Затем из послушания монаршьей воле стал проводником Манифеста 17 октября — твёрже самого Государя. Теперь же, когда победа — едва, на перевесе — оставалась за властью, Шипов, не замечая, всё более принимал сторону кадетов:

Власть должна отказаться от борьбы с обществом.

В эти самые месяцы убивали сотни должностных лиц, или грозили убийством (брата Гучкова Николая, московского городского голову, за противодействие забастовке митинг трамвайщиков *официально* постановил — *убить*), однако Шипов не прибавлял: «и общество должно отказаться от борьбы с властью». Он отшатывался поддержать энергичные действия Столыпина, который якобы «не признавал нравственного начала в государственном строе и государственной жизни», и склонялся отдать

последнюю в волю кадетов, у кого как раз нравственное начало и утанывало в политике.

Как будто при содействующих, располагающих обстоятельствах встречались Шипов со Столыпиным летом 1906, обговаривая, как вместе создать правительство, — но никакое согласие даже не промелькнуло между ними, а сразу — душевное внутреннее отталкивание, которое невозмутимого кроткого Шипова довело до возбуждённого, сбивчивого оскорбительного объяснения, потом разложенного по логическим пунктам: Столыпин не предан искренно Манифесту и даже — противник его; он хочет вести страну в традициях старого абсолютизма; он пренебрегает представительными учреждениями, он — главный виновник роспуска 1-й Думы; у него — ограниченный политический кругозор, неглубокое общее миросозерцание; он не стремится к общему благу и высшей правде; а притом — самоуверен, властен, и вот сумел подчинить своему пагубному, но сильному влиянию Государя.

А Столыпину, вероятно, виделось, что Шипов, при святости верхового кругозора, лишён хватки, поворотливости, быстрой энергии, славно разговаривает, а *сделать* в крутую минуту не способен ничего, и Россию спасать — ему не по силам.

Урок Шипова тем более печален, что свои последние годы, не избираемый в Думу, всё более вышибленный и устранённый даже из мелкой деятельности, даже из уездного земства и из московской городской думы, и медлительно занимаясь мемуарами, он проявил не возросшую, а ослабшую остроту зрения, когда полуслёзная плёнка доброты и слишком настойчивой, неотклончивой веры мешает видеть. Дописывая мемуары осенью 1918, он изъясняет нам, что вот закончилась последняя большая война истории, подобная кровавая катастрофа никогда не повторится, окончательно ниспровергнуты идеи милитаризма и империализма, религиозное сознание победило, особенно в Соединённых Штатах, русский же народ, богоносец и богоискатель, в недалёком будущем вновь поднимется с колен, а интеллигенция согласует свои взгляды с идеалами народного духа, как террорист-социалист Савинков, уже перешедший в христианство.

И такой конец Шипова заставляет усумниться, насколько отчётливо и быстро оценивал бы он события и отдавал решения, если бы в июне 1906 согласился бы возглавить русское правительство? (Это — не символическое представление: в тех же переговорах наряду с Шиповым участвовал его близкий единомышленник князь Г. Е. Львов. В 1917 тот показал, чего стоила вся линия.) Почитая народ устойчивым богоносцем, отчего, правда, было и не отдать его взбрыкам кадетской Думы? — богоносцу ничто не повредит, он всё равно подымется на ноги. Из нашего отдаления нам легче теперь оценить сравнительную правоту и неправоту Шипова и Столыпина, для них самих в горячие недели постигаемые только интуицией.

Столыпин оказался роковым человеком и для Гучкова, в его расхождении с Шиповым. Недавних союзников он разделил как взмахом сабли: от первой же встречи, почти мгновенно, всё той же нашей спасительной интуицией, Гучкову без оговорок полюбился его твёрдый уверенный мужественный ровесник Столыпин. В наших схожденьях-расхожденьях мы иногда сами не замечаем, как выбор наш решается не убежденьями, а темпераментом. Гучкову открылся в Столыпине человек дела с сильной волей, ясным умом, определённым взглядом на всякий предмет, прямизной в высказываниях и —

В нём русское было центром всего.

Сам Гучков, к сорока пяти годам из своих передряжных поездок и войн прийдя как будто молодым человеком, только и рвался, только и брался уставлять общественную жизнь — перенявши от Шипова руль «Союза 17 октября» в его крушении, ту самую идею провести, начатую вместе с Шиповым: благожелательное сотрудничество между властью и обществом. Гучкову странно было слышать от Шипова, что тот, занимаясь политикой, порицает политическую борьбу.

А для меня, напротив, всегда большое удовольствие — хорошенько *накласть* своим противникам!

Именно борьбой как таковой, самой тканью борьбы, переживанием борьбы — до страсти охватывался Гучков. И в самые бурные месяцы, когда Россию грозило развалить и разорвать, ему дикими казались советы Шипова уступить Россию кадетской Думе, пусть со временем убедятся обе в своих ошибках. Не терпя кадетов, Гучков не упускал случая нанести им удар — хотя б в заседании губернской управы, в повороте мелкой местной резолюции, чтоб кадеты хоть поперхнулись.

Но даже и стоя так, и при симпатии к Столыпину, — войти в его первый кабинет Гучков не решился: это значило бы перешагнуть пропасть от общества к правительству. На Аптекарском острове, за несколько недель до взрыва, Столыпин предложил ему пост министра торговли-промышленности, и программу правительства Гучков одобрял, — а ставил и ставил встречные условия, кого ещё *из общества* непременно позвать в министерство. Уговор не состоялся, но Гучков обещал поддерживать Столыпина с общественной стороны.

В те же дни снова захотел поговорить с Гучковым и Государь, принял его в Петергофе. Это были дни восстания в Свеаборге, тут — дремало поразительное спокойствие. Государь был в благодушном настроении, очаровательно любезен, как он умел быть очаровательным, очень располагая к себе. Тоже звал в министерство. Но, по всему, не отдавал себе отчёта в серьёзности положения. Монарх — как будто не этой страны, не этой планеты. Он находил излишним всякое обновление внутренней политики и не хотел себя связывать никакой программой. Стало

> так тяжело на душе, что и сказать нельзя. Петергофские впечатления совсем доконали меня. Никакой надежды в ближайшем будущем. Мы идём навстречу ещё более тяжёлым потрясениям. Но вместе с тем и примирительное чувство, что *невинных нет*, что все жертвы готовящейся катастрофы несут в себе свою вину, что совершается великий акт исторической справедливости. До боли жаль отдельных лиц, но не жаль всю совокупность этих лиц, целые классы, весь строй, —

писал он жене по свежим впечатлениям петергофской аудиенции. Вся загадка и всё бессилие сгущались в этом странном вежливом Государе, который только и находился спросить солдата — в каком он полку служил перед тем, а послушав игру знаменитого пианиста — чтó он, старший или младший брат однофамильца моряка?

Гучков поражался, но не ослаб, а крепкими ногами воина побрёл против сшибающего течения. Когда в августе 1906 были введены военно-полевые суды, мотивированные в правительственном сообщении:

> Революция добивается не реформ (проведение их почитает обязанностью и правительство), но разрушения самой государственности и монархии,

а всё общество, разумеется, негодовало на суды, — Гучков не испугался выступить в печати одиноко с одобрением:

> Твёрдая власть, имеющая охранить молодую политическую свободу, должна прибегать к скорым и суровым репрессиям. У нас в некоторых местностях идёт междуусобная война, а законы войны всегда жестоки. Возрастающее у нас грабительство уже перешло от революционного характера в разбой. Введение военно-полевых судов — жестокая необходимость. Репрессии вполне совместимы с либеральной политикой: только подавление террора создаст нормальные условия. На революционное насилие правительство обязано отвечать энергичным подавлением. Я глубоко верю в Петра Аркадьевича Столыпина. Таких способных и талантливых людей ещё не было у власти у нас.

И через год:

> Если мы присутствуем при последних судорогах революции, то этим мы обязаны исключительно Столыпину.

Сторонники отпадали, левые поносили Гучкова. Но этим заявлением он твёрдо начинал шестилетний вершинный путь своей жизни — те самые отпускаемые нам главные годы, для которых вьётся вся остальная жизнь.

Не сразу этот путь пробился: общество жаждало левизны и революции, во 2-ю Думу октябристы так же не попали, как и в 1-ю. Но весной 1907 Гучков отказался от верного, однако слишком спокойного места в Государственном Совете — чтобы побиться за Думу, собирать октябристов под проклятья и угрозы слева.

Миновали, как считал Шипов, условия для деятельности «Союза 17 октября»? или только теперь и начинались, как уверенно вёл Гучков:

> Примирить вечно враждующие русскую власть и русское общество, дружно сотрудничать с властью и безболезненно перейти от осуждённого уклада к новому.

Со своими мировыми и внутренними задачами Россия может справиться

> только под предводительством сильной царской власти. Конституция

(1906) просвечивает власть для общественности и тем высвобождает от безответственных тёмных влияний, —

но не для того, чтобы кинуть её

в распоряжение политических партий и их центральных комитетов! Мы — против революционных элементов, которые думали воспользоваться затруднительным положением правительства, чтобы насильственным переворотом захватить власть. В борьбе со смутой, в момент смертельной опасности мы решительно стали на сторону власти,

сохраняя свободу осуждать ошибки правительства и отстаивать его верные шаги.

Сам тот Манифест 17 октября сперва слишком неуступчивого, потом слишком напуганного царя — был ли посильным скачком для страны, никак не подготовленной к парламентской жизни? Не обещает ли закон 3 июня 1907 более спокойного развития к парламентскому состоянию?

Тот государственный переворот, который был совершён нашим монархом, как раз и являлся установлением конституционного строя. Я уверен, что спокойная лояльная работа 3-й Думы примирит и наших противников, и через год-два будет вынуто ядовитое жало, столько времени растравлявшее народное тело, и избыточная энергия революции уйдёт в созидание.

Так и случилось. Именно с 1907 в России началось неоспоримое выздоровление. Люди, которые несколько лет назад метались от сходки к сходке, теперь развивали экономические программы, и всё более заметной фигурой общества становился инженер.

Осенью 1907 октябристы прошли сплочённой группой в 3-ю Думу, и их лидеру Гучкову предстояло показать теперь на деле, возможно или невозможно осуществить среднюю линию уравновешенного устроения России. Две первых Думы не видели иной цели, как дразнить правительство и ярить общество, — сумеет ли 3-я формировать государственный путь страны?

Первый свежий толчок, который мы испытываем здесь, — это соотношение лидера думского большинства Гучкова и председателя совета министров Столыпина: их сотрудничество — не в сговоре, не в умысле, но в служении общей цели, кто лучше её поймёт: при единомыслии — спор и состязание. Одно из первых выступлений Гучкова (май 1908) было: отказать в кредитовании флота, укрепляя Россию — отказать ей в броненосцах! Иначе

как нам отделаться от призраков прошлого? Правительство должно пролить всю правду, назвать всенародно имена лиц, виновных в катастрофе.

Эта речь вызвала большое раздражение Николая II, так любившего флот, и сильно омрачилось его отношение к Гучкову, который очень ему нравился прежде.

С думской трибуны открылся Гучкову простор объяснить и всю японскую несчастную войну:

Главной виновницей наших неудач была не армия, виновники — наше центральное правительство и наше общество. Правительство легкомысленно способствовало возникновению этой войны; в долгие мирные годы не озаботилось правильной постановкой дела обороны; когда появилась опасность — не отдало отчёта в серьёзности положения. Предполагалось, что это — далёкая колониальная война, которую нет надобности вести со всем напряжением сил. Лишь гораздо позднее явилось сознание, что дело идёт не о Южной Манчжурии, но о существовании России. Когда же мы стали на Дальнем Востоке сильны, и дух армии был ещё бодр — правительство потеряло веру в себя, в свой народ, и заключило тот мир, который надолго похоронил наше международное положение.

Но если правительство хоть в конце несчастной войны поняло свою ошибку, то второй виновник наших неудач — наше общество, так до конца и осталось в своём ослеплении. Общество оказалось нисколько не прозорливее правительства, они друг друга стоили. Непопулярность повода к войне заставила общество закрыть глаза, какая жизненная ставка разыгрывалась там, вдалеке. И всё, что лилось отсюда в армию, — наша пресса, письма родных и знакомых, приезжие люди, всё это отнимало последнюю бодрость, остаток веры в себя и в успех. Наше общество дей-

ствовало во всё время войны деморализующе на нашу армию. (Справа: «Правильно!») А в конце войны оно ещё усугубило свою ошибку.

Впрочем, и в армии

канцелярия заполнила всё, подчинила строй, мертвила энергию, убивала дух. Генеральский состав оказался наиболее слабым. Как и в крымской, и в турецкой войне, большинство генералов оказалось не подготовлено к распоряжению всеми родами оружия. И до сегодня сохранился во всей нашей стране тот противоестественный подбор, при котором всё слабое и ничтожное всплывает наверх, а всё талантливое и смелое отбрасывается.

Выступал Гучков не для того, чтобы покрасоваться с думской трибуны, но — каждою речью улучшить что-то в отечестве, и особенно — в армии, которой он посвятил свою деятельность. То — за кредит на улучшение быта нижних чинов, у которых был скуден приварок, то — за увеличение содержания офицерам, сословию, презренному обществом, обойденному казной, но обязанному в тяжкие минуты отечества за всех за них проявить высший воинский дух.

Некомплект офицеров в армии принимает угрожающие размеры. Есть войсковые части, где он достигает половины офицерского состава. Оклады содержания офицеров и раньше ставили их вплотную с нуждой. А в последние годы, когда многие общественные группы и классы в суматохе так называемого Освободительного движения несколько устроили своё материальное благосостояние, нужда стоит уже не у порога офицерского жилища, но вошла в самое это жилище, офицерские жёны несут самую чёрную работу, офицерские семьи переходят на довольствие из ротного котла, а на далёких окраинах ведут существование прямо не достойное человека. Беспросветность жизни армейского офицера... Невозможность даже под конец жизни обеспечить свою семью.

Тогда как в армии должна быть только одна привилегия — образования, военных знаний и таланта (аплодируют, но не справа), в ней — незаслуженные, неоправданные привилегии гвардии, происхождения, денежного достатка, столичных связей.

Жернов гарнизонной службы перетирает в порошок рыцарские чувства и благородные характеры. Не бережётся чувство чести и личного достоинства, но цуканьем, хамством с подчинёнными, издевательствами, униженьями уничтожают то чувство самолюбия, которое в военном человеке — из главных стимулов героизма. И офицеры уходят из армии — куда-нибудь, землемерами, экзекуторами, бухгалтерами. Остаются в армии или немногие подлинные любители военного дела или лица, ни на какую другую службу не годные.

А реформы входят в военное ведомство слишком робко.

И когда вспомнишь, как после тяжких поражений поступали другие народы, закрадывается в сердце грусть и зависть. Вы помните, как после 1871 года возрождалась Франция, на какие жертвы шла она вплоть до того момента, как задул ветер социалистических учений и доконал то, чего не в состоянии были сломить немцы?

Ещё в 1908 Гучков понимал и называл:

Комплект наших патронов и снарядов совершенно не отвечает новым условиям войны. При значительной войне наши заводы не приспособлены покрыть расход боеприпасов, а некоторых составов русская промышленность вообще не вырабатывает.

И — о благовременном переносе заводов от возможного западного фронта. (До отступления 1915 так и не сдвинулось ничто.) И — о слабости, дряхлости наших крепостей. (Так и оставлены.)

В горьких выступлениях Гучкова лучился и юмор:

Я думаю, что нет министра, который был бы больше заинтересован в свободе печати, чем министр военный. Я бы на его месте ежедневно надоедал министру внутренних дел: когда же он внесёт законопроект о расширении свободы печати.

Ибо не улучшить нам военного ведомства и особенно легендарного интендантского, пока не будет выслушан голос армии и не будет контроля общественного мнения. Вот военный министр (Редигер) решился на беспримерную ревизию над интендантским ведомством.

> Перед материалами, которые добыты ею, я вижу себя обезоруженным, ибо на каждый мой вопрос: известно ли военному ведомству то или другое злоупотребление, я уверен, ведомство может мне ответить: «мне известны гораздо большие злоупотребления». (Смех в центре и слева.) А если ведомство скажет, что в его руках недостаточно репрессий, я уверен, что Дума не поставит пределов этим репрессиям: для вороватых интендантов мы готовы дойти и до военно-полевых судов. (Рукоплескания в центре и справа.) Я уверен, что даже господа левые в этом вопросе только стыдливо воздержатся от голосования. (Слева шум.) И тогда все эти рассказы о картонных подошвах у героев Шипки, отмороженных ногах и босоногой армии отойдут в область преданий. (Бурные рукоплескания. Пуришкевич: «Молодчина, Гучков!»)

В вопросы военного ведомства Гучков входил особенно глубоко. Он сам возглавил думскую комиссию государственной обороны (не допустив туда ни социалистов, ни кадетов), министр Редигер охотно раскрывал перед комиссией все дефекты. Старались добросовестно изучить постановку военного дела в России. Гучков завязал связи и с генералом Василием Гурко и в военно-морских кругах. Военных кредитов не только не урезывали, но всегда добавляли, провели и повышение окладов офицерству. *Наверху* были недовольны, что Дума увеличением военных кредитов ищет симпатий армии и вмешивается не в своё. Но и глядя из Думы, можно было быть недовольным верхами, и Гучков решился взорвать эту тему в ярком выступлении. Чтоб никто не мог помешать, он скрыл свой замысел ото всех и от председателя Думы. Сперва защищал смету, а потом, стараясь говорить возможно быстрей, чтобы не прервали, атаковал великих князей:

> Совет Государственной Обороны во главе с великим князем Николаем Николаевичем обессилил и обезличил военного министра и тормозит всякие улучшения в военном деле. («Браво!» Рукоплескания.) Чтобы закончить перед вами картину той дезорганизации, граничащей с анархией («Браво!» «Верно!»), которая водворилась в управлении военного ведомства, я должен ещё сказать: должность генерал-инспектора всей артиллерии занимает великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектора инженерной части — великий князь Пётр Николаевич, главный начальник военно-учебных заведений — великий князь Константин Константинович. Так во главе ответственных отраслей военного дела поставлены лица, по своему положению фактически *безответственные*. («Браво! браво!») Назвать это своим именем — наш долг, и вместе с тем мы должны признать наше бессилие. («Верно! Верно!») Прав был депутат Пуришкевич: мы больше не можем позволить себе поражений! Новое поражение России явится не просто уступленной территорией, не просто заплаченной контрибуцией, но *будет тем ядовитым укусом, который сведёт в могилу нашу родину!* (Рукоплескания. «Верно!») И если мы требуем от страны тяжёлых жертв на дело обороны, то мы вправе обратиться и к тем немногим безответственным лицам и потребовать только всего: отказа от некоторых земных благ и некоторых радостей тщеславия! (Продолжительные бурные рукоплескания слева, в центре и отчасти справа.) Этой жертвы вы вправе от них ждать.

Растерявшийся председатель закрыл заседание. Дума была потрясена. Спрашивал Милюков в кулуарах:

— Александр Иваныч! Что вы наделали? Ведь после этого Думу распустят!

— Нет, армия и народ — с нами, не решатся!

А Николай II Столыпину: «Он мог бы это сказать в частном разговоре, а не с публичной трибуны.» Однако в частном разговоре ответ — улыбка и «вы совершенно правы», и всё остаётся на местах. Уверен был Гучков, что только публично высказанная мысль подействует. Речь его никем не была опровергнута, престиж великих князей

подорван. Но и до 1917 они оставались на подобных местах. А Совет Обороны был распущен, к облегчению.

Терял Гучков былое расположение Государя. А хотел совсем не этого. В начале 1909 при запросе о годности высшего командного состава вынудил Редигера к признанию:

> При выборе кандидатов на высшие должности приходится сообразовываться с тем составом, который налицо, —

и за этот ответ Государь отрешил военного министра и назначил на долгие годы... — Сухомлинова. Этот — был уже врагом думской военной комиссии, и только помощник министра Поливанов снабжал Гучкова необходимой тайной информацией. Предстояло Гучкову ещё немало разоблачать и Сухомлинова.

Вспоминал Шингарёв:

> Речи Гучкова были бы невозможны со стороны кого-нибудь из нас — скандал, удаление на пятнадцать заседаний. А его — слушали.

Впрочем, правые — неспокойно. В постоянном сочувствии Гучкова к армии они видели желание перетянуть армию от Верховной власти к Думе. В правых газетах и с думской же трибуны Гучков был обвинён в «младотуречестве», в «раскрытии ран» нашей обороны, подрыве доверия, выносе сора из избы. Гучков отвечал:

> Когда мы видели неспособных вождей, мы говорили: это — неспособные вожди. Едва ли виноваты мы, называя их своими именами,— скорее те, кто держат их. От курения фимиама, от тактики замалчивания мы так много настрадались, что надо воспользоваться Думой, чтобы говорить правду. Член Думы Пуришкевич упрекнул: «Нужна вера, вы вселяете безверие». Но есть хуже, чем безверие, — это ложная вера. И мы будем разрушать её везде, где найдём. «Хлопчатобумажный патриотизм» сказал обо мне Пуришкевич, повторяя засаленную остроту. Эти господа не могут мне простить, что я — купеческого происхождения. Чтобы дать им материал для новых острот, я им ещё добавлю: я не только сын купца, но и внук крестьянина, который из крепостных выбился в люди трудолюбием и упорством. (Рукоплескания.) И в моём «хлопчатобумажном патриотизме» вы, может быть, найдёте отзвук другого патриотизма — чернозёмного, мужицкого, который знает цену таким барчукам, как вы.

И разве Гучков не выдержал исходной программы «Союза 17 октября»? Пора 3-й Думы представлялась ему

> небывалой с 60-х годов картиной русской жизни: власть и общество, всегда непримиримо враждовавшие, сблизились. В этом акте примирения выдающуюся роль сыграл Столыпин совершенно исключительным сочетанием качеств Благодаря именно его обаятельной личности, высоким свойствам его ума и характера, накапливалась вокруг власти атмосфера общественного доброжелательства и доверия на место прежней ненависти и подозрительности. Третья Дума своей уравновешенностью оказала глубокое воспитательное влияние на русское общество. Создавалась небывало благоприятная обстановка, обещавшая обновление во всех областях нашей жизни.

О, не так-то просто отползают с народного пути старые каракатицы, одряхлевшие у власти! Уже весною 1909, чуть утихло с революцией, эти фантомы и уроды сплотились к трону — убрать Столыпина. Готовилась его отставка. Гучков дал газетное интервью:

> Конституции грозит опасность со стороны правых групп, отставных бюрократов, при новом строе оставшихся не у дел, правого крыла Государственного Совета. Пока Столыпин вёл борьбу с революцией — правые могли жить спокойно. Но наступила эра реформ, и правые поняли, что их торжеству приходит конец. По мере того, как революция отлагалась, поднимали головы со своей короткой памятью те, кто неискренно терпел Манифест как легкомысленную уступку. Приведшие Россию к небывалому унижению, перед смертельной расплатой как будто исчезнувшие, — они теперь выползают изо всех старых гнойников и захватывают позиции.

А ещё [illegible]

> Столыпин никому не прощает воровства, взяточничества и корысти. Тут он беспощаден. Когда начался грозный цикл сенаторских ревизий, всколыхнулось тёмное царство взяточников и казнокрадов. Кругами расходился по этому болоту страх за существование.

(Всё же в ту весну Столыпин устоял: ещё недостаточно прискучил Государю и как будто ещё не опасно затмевал его.)

Особенности *центра* — с такою же силой Гучков разоблачал и левых:

> Если раньше могли быть какие-то иллюзии о моральном значении и политической целесообразности террора, если раньше террор был окружён в известных общественных кругах атмосферой сочувствия, даже соучастия, то ныне лужи крови и грязи лишили террор того ореола. А наш государственный и социальный строй оказался столь могучим, что выдержал безумный натиск безумных людей. Разве террор не выродился теперь в дикую бессмысленную злобу?.. Последние годы, отмеченные Освободительным Движением, вложили свою лепту в развитие хулиганства. Припомните, с чего началось в России революционное движение? С декабристов! Припомните, чем оно закончилось? (Слева: «Оно — не кончилось!») ...Террор убивает безжалостно не только тех, кто являются его действительными и опасными противниками, он убивает вокруг себя зря, вслепую, кого и как попало. И если раньше можно было предполагать, что в рядах революции сосредоточена известная доля самопожертвования и героизма, то давно героизм перекочевал в противоположный лагерь; надо признать, что те городовые, солдаты, те генералы, губернаторы и министры, кто в течении многих лет мужественно выстаивают на своём посту, ежеминутно подвергая опасности себя и своих близких, — они и являются истинными героями! (Рукоплескания центра и справа.)

И Гучков призывал, чтобы законопроект о помощи семьям, чьи кормильцы убиты революционерами, был поддержан всею Думой — это оздоровило бы нравственное сознание страны,

> прекратило бы или ослабило то пролитие крови, которое составляет несчастье и позор нашей родины.

Но призывал он, разумеется, тщетно. Не только социалисты, но и конституционалисты-демократы перестали бы быть сами собой, если б осмелились вслух осудить революционный террор. Головы, непоправимо скрученные влево, вернуться в среднее положение не могли.

> Со стороны крайних левых групп мы слышим исключительно только речи, полные подозрений, полные яда, полные ненависти. Это показывает, насколько искренними работниками они являются в том труде, который мы несём.

Были и позже случаи противостать левым — всё о терроре. В конце 1909 на Астраханской улице в Петербурге, в частной квартире, снятой полицией, был взорван бомбою начальник петербургского охранного отделения Карпов. И левые, и кадеты внесли шумный кривой запрос о полицейской провокации: что квартира была полицейскою фабрикою бомб. — Но зачем полиции фабрика бомб, да ещё тайная? производить взрывы? — возражал центр.— Нет, подкидывать бомбы перед обысками,— изобретали левые.

Так накалено было в думских крылах — всегда доказывать правоту *своих*, всегда доказывать виновность *тех*, что ораторы не желали схватывать возражений, подробностей дела. Неисчерпаемо-цветистый Родичев, прославленный своим языком и им же едва не наказанный насмерть, теперь с думской трибуны пересказывал из французской газеты статью эмигранта Бурцева (такое возможно было в консервативной Думе!),

> кому кадетская фракция верит больше, чем председателю совета министров,

но упустил, очевидно неумышленно, — язвит Гучков, — как раз то место статьи, где Бурцев свидетельствует о человеке (Петрове-Воскресенском), произведшем взрыв, что он был

агентом революции, палачом революционного трибунала, командированным в стан охраны *двойником.*

А это даёт повод Гучкову высказать, что часто

в полицию являются представители революционных партий с предложениями услуг за деньги. Моральное разложение в революционном лагере пошло далеко, так далеко, что от лозунга «всё дозволено в политической борьбе» дошли до лозунга «всё дозволено во всех областях жизни». Идеалистический, героический период революции, о котором мы знаем понаслышке, давно отошёл, а теперь наступил период *разбойный.* Вот член Думы Чхеидзе, вероятно, не будет мне противоречить. Мне писали с Кавказа в период *освободительного движения*, что каждая так называемая политическая экспроприация — грабёж, чтобы достать средства для революции, сопровождалась всегда чрезвычайно широкими кутежами в лучших ресторанах Тифлиса. Как эти кутежи бывали, так люди и знали: произошла политическая экспроприация.

И, обращаясь к левым:

Если вы будете разоблачать действительно провокационные приёмы полиции — вы всегда найдёте нас союзниками. Но если вы хотите разоружить государство и правительство в борьбе с революцией — то нет, слуга покорный!

Так стоял он крепкими ногами против шумных и яростных натисков то слева, то справа, то и слева и справа, то поддерживаемый, то бранимый, — но в вере, что твёрдо ведёт средний курс корабля, примиряя русскую власть и русское общество для созидания; в надежде, что наконец и власть и общество ограничат себя и откажутся от непомерных требований.

В этом — особенность парламентского центра:

В Думе есть группы, нисколько не заинтересованные в плодотворности законодательной работы. Левые наши *товарищи* твердят и мечтают, что из Думы ничего не выйдет и нужна великая катастрофа;

правые грозят, что Дума к ней и ведёт; власть презрительно смотрит на Думу — нечего с ней считаться; но

разочаруются те и другие, и Думе удастся восстановить у нас правду и справедливость.

Кто же больше *центра* заинтересован в прочном законодательстве? Особенность центра: прикрываться то левым, то правым крылом, собирать большинство то с правыми против левых, то с левыми против правых — и так двигаться вперёд, и так отстаивать страну.

Вместе с левыми Гучков: то (1908) поддержит протест против неслыханного произвола московского генерал-губернатора: он осмелился требовать запрещённые цензурой книги опечатывать и *даже* сдавать властям!

то (1909) — за свободу публичного старообрядческого проповедания (все социалисты были конечно з а, но эту свободу запрещала православная Церковь);

то — против *произвола* над присяжными поверенными (адвокатов, передававших заключённым недозволенные вещи, — министерство юстиции покушалось не допускать в тюрьмы, каково!);

то (1910):

Потребность в системе успокоения прошла. Не видим прежних препятствий, которые оправдывали бы замедление гражданских свобод. Мы ждём!

то (1912) — за расследование Ленского расстрела,

где царили условия кабалы, к счастью давно отошедшие в предание для большей части русской промышленности, а начальство было в панике, обезумев от личного страха;

то, по телеграмме Короленко, заступиться и спасти политического смертника.

И всё это, особенность центра, не создаёт ему никаких политических союзников.

Мы и в стране и в Думе чувствуем себя несколько изолированными, —

звучит у Гучкова усталая нота. Лучше бы ни от кого не зависеть, ни с кем не блокироваться; плодотворны парламенты с центром самостоятельным, слабы парламенты с центром непрочным. Тут могут быть такие неожиданности: объединение правых

и левых против центра. И в каком стечении: фракция октябристов предлагает начать думскую сессию (1912) с двух вопросов, важнейших для крестьянской России: порядка на земле и порядка в суде — землеустройства и восстановления выборного местного суда, независимого от администрации. Правое крыло Думы, разумеется, против. Но левое-то будет — за? Как бы не так, социал-демократы — против, ибо *это ничего не дает* (им). Но — кадеты? но — цвет русской интеллигенции? Кадеты — тоже против: гораздо первей и важней вопрос *о неприкосновённости личности*!

И октябристскому центру не хватает голосов...

> Господа, мы имеем перед собою чёрно-красный блок, это то, что составляет проклятье нашей русской жизни. (Смех справа и слева, рукоплескания в центре.) И никогда ещё этот блок не выступал с таким цинизмом. Да, с противниками бывает нужно сосчитаться, но не нужно брать почвой для счётов живое народное тело. Мы доведём законопроект до крушения и оставим население на долгие годы без правосудия.

Ну и что ж. Ну и пусть.

С марта 1910 Гучков предпочёл избраться председателем Думы — чтобы, по ритуалу, бывать на докладах у Государя: он очень рассчитывал оказать прямое личное влияние, даже повернуть ход России.

> Вы меня простите, Ваше Величество, я сделал своей специальностью говорить вам только тяжёлые вещи. Я знаю, вы окружены людьми, которые сообщают вам лишь приятное.

И был интересен Государю, иногда очень увлекал его. Цель Гучкова была — разбить лёд между Думой и Государем. Тот внимательно выслушивал (впрочем, эти пассивные состояния всегда у него выглядели правдоподобно), но часто и высказывался живо. Подозревал Гучков и так, что иные воли стояли за Государем — за задними дверьми или в угнетённом сознании монарха,— таились, шептались, сплетались симпатии и антипатии, влияния, капризы и выиски шмыгающих теней — «придворный шёпот». Ещё было и шесть лет между ними — и с этой возрастной ступеньки тоже смотрел Гучков сожалеюще на приятный взрак царя, однако лишённый устремления.

Вместе со Столыпиным разделял Гучков эту трагическую роль: отстаивать монархию вопреки монарху, авторитет власти против носителей власти.

> Моя жизнь принадлежит Государю, но совесть ему не принадлежит, и я буду продолжать бороться.

Сухомлинов забавлял Государя придумкою новых армейских форм (Государь любил их как ребёнок, он завял бы, если бы вся армия была одета одинаково), избегал утомлять скучными докладами, скрывал недостатки. И более всего тормозил смену высшего командования на боевое. В аудиенциях Гучков жаловался Государю, что все реформы армии замедлены, не развивается военная промышленность, технические улучшения ведутся за счёт иностранных заказов. А в глазах Государя читал и так: сводите счёты с министром?

Гучков был неуёмист, всегда — вызов, и даже в год председательства не мог удержаться — пережил одну из многих своих дуэлей, с октябристом же графом Уваровым, покидал Думу, чтоб отбыть 4-х-месячное наказание в крепости — но высочайшим повелением прощено, не отсидел и месяца. (Среди гучковских дуэлей должна была быть одна и с Милюковым, за думское оскорбление.)

А потом Гучков сорвался: после очень тёплого приёма поделился успехами и надеждами с коллегами в Думе чуть пошире — попало в газеты, и мнения Государя тоже, — и следующий раз царь встретил Гучкова холодно, не садясь. Не прощая. Конечно навсегда.

И такие же порывы и дёрганья не давали плавно течь сотрудничеству Гучкова со Столыпиным. А когда тот в марте 1911 провёл западное земство роспуском Думы и Совета на три дня — Гучков испытал потребность сильно отдёрнуться, чтобы видели все, что он — не соучастник. Бросил председательство в Думе, теперь ему только тягостное, когда он разошёлся с Царём, и с направлением Красного Креста поехал смотреть чуму в Манчжурии (подальше, чтобы не возвратили). Взвинчивая себя, он придумал объяснить Столыпину, удивлённому, зачем такая непомерная резкость:

> Вы знаете, как я дорожил вашей победой, как мне были ненавистны ваши враги. Но шаг, который вы делаете, — роковой, не только для вас лично (я знаю, вы к этому равнодушны), а и для той обновлённой Рос-

сии, которая вам так дорога и которая вашими же усилиями стала выходить из хаоса.

Из Манчжурии Гучков вернулся в августе, за несколько дней до убийства Столыпина. Тут его достиг слух, что финские националисты готовят на Столыпина покушение (возможно, было и такое), — и он успел дать знать Курлову в Киев, не самому Петру Аркадьевичу, чтобы не тревожить его.

В сентябре, в экстренном поезде, с полусотнею октябристов, Гучков ехал в Киев на похороны.

Раскаивался ли он, что на последнем пути не поддержал Столыпина? — теперь, в чём мог, он принимал на себя задачу убитого. ЦК октябристов обвинял кадетов в подготовке общественного настроения, облегчившего убийство. В 40-й день от смерти октябристы внесли в Думе запрос:

> Революционные партии и враги России, объединившись, исполнили свою давнишнюю угрозу отомстить тому, кто когда-то подавил революцию.

И Гучков, поддерживая запрос:

> Это была жизнь за царя и за родину, и смерть за царя и за родину... Поколение, к которому я принадлежу, родилось под выстрел Каракозова. Кровавая и грязная волна террора прокатилась по нашему отечеству, унося с собой Царя-Освободителя. Террор затормозил и тормозит поступательный ход реформ; террор давал оружие в руки реакции; террор своим кровавым туманом окутал зарю русской свободы, это свежо у всех в памяти (справа и в центре: «Браво!», слева: «Сказки для маленьких детей!»); а теперь террор устранил и того, кто более всех содействовал укреплению у нас народного представительства.
>
> Вокруг язвы, съедавшей живой организм русского народа, копошились черви. Они сделали себе из нашего недуга источник здоровья. (Слева: «Охранники!») Для этой банды существовали только соображения карьеры, расчёты корысти. (Справа и в центре: «Браво!») Это были крупные бандиты (слева: «Правильно!»), «жадною толпой стоящие», но с подкладкой мелких мошенников. И когда они увидели, что им наступили на хвост, стали обстригать их когти и проверять ресторанные счета, — они своими действиями и попустительством дали произойти убийству председателя совета министров...

Запрос называл по именам всех четырёх — Курлова, Спиридовича, Веригина, Кулябку, а Гучков с трибуны ещё добавлял подробностей о них — взяточничество, вскрытие денежных писем.

> Заколдованный проклятый круг, в котором бьётся правительство. Власть в плену у своих слуг. Змея, которой вы наступите на голову (Пуришкевич: «Мы с вами никогда не будем!»), ужалит смельчака, и кое для кого это может быть смертельный укус на прощание. *Если виновных лиц вы удалите с пенсией, а в общем всё останется по-старому, — вы обречённые.* Другой путь — полная реорганизация политической полиции. Хватит ли у вас решимости?

Нет, конечно, не хватило. Обречённые всё оставили по-старому.

А в *змее*-то Гучков понимал и Распутина, доставался и тот Гучкову в тяжёлое наследство. Но тут была опасность многослойна: нельзя было распахнуть передо всем народом России, что дело касается самого самодержца, — хотя именно ему Гучков не мог простить и себя и пренебрежённого Столыпина. Гучков искал помощи министров. Не нашёл. Тогда в январе 1912 в гучковской газете «Голос Москвы» напечаталась статья, изобличавшая хлыстовство Распутина. Номер был, разумеется, конфискован, редактор привлечён к суду. Это давало октябристам право запроса:

> Доколе Святейший Синод будет безмолвствовать и бездействовать, наблюдая, как разыгрывает трагикомедию проходимец, хлыст, эротоман, шарлатан Григорий Распутин? Почему молчат епископы, архипастыри? Почему всем газетам в Петербурге и Москве предъявлено требование ничего не печатать о Распутине?

И Гучков, поддерживая свой запрос мести:

> Неблагополучно в нашем государстве. Опасность грозит нашим на-

родным святыням. Безмолвствуют иерархи, бездействует государственная власть. И тогда патриотический долг прессы и народного представительства — дать исход общественному негодованию..

А вослед, при обсуждении сметы Святейшего Синода:

Я никогда ещё не выступал на эту трибуну с таким тяжёлым чувством. Нужно душевное настроение, мне не свойственное, и склад души, мне чуждый, чтобы сосредоточить внимание на страховании церковного имущества, уравнении епископских окладов, даже на приготовительных шагах к созыву поместного собора, когда всё это тускнеет, а хочется *кричать, что церковь в опасности и в опасности государство!..* Этот изувер-сектант или проходимец-плут, эта странная фигура в освещении XX столетия (слева: «Электричество и пар!»), — какими путями захватил этот человек такое влияние, пред которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти? (Слева: «Целуйте ручки!») Вдумайтесь только, кто же хозяйничает на верхах? Кто вертит ту ось, которая тащит за собою смену направлений и смену лиц, падение одних, возвышение других? (Марков 2-й: «Бабьи сплетни!») За спиной Григория Распутина — целая банда, пёстрая и неожиданная компания, взявшая на откуп и его личность, и его чары. Антрепренёры старца! Это они суфлируют ему то, что он шепчет дальше. Это целое коммерческое предприятие, умело и тонко ведущее свою игру. Никакая революционная и антицерковная пропаганда за годы не могла бы сделать того, что Распутиным достигается в несколько дней. И со своей точки зрения прав социал-демократ Гегечкори, сказавший: «Распутин полезен». Да, для друзей Гегечкори даже тем полезнее, чем распутнее! И в эту страшную минуту, среди отчаяния и смятения одних, злорадства других, — где же власть? власть церкви и власть государства? А где были вы, обер-прокурор Святейшего Синода? Когда у нас проходили законы о гарантиях религиозных свобод, о праве перейти из одного вероисповедания в другое, о старообрядческих общинах, чтобы исправить вековую неправду, — мы вас видели среди противников. А язву, разъедающую сердцевину народной души, — вы проглядели!

Я замечал, что достигшие больших жизненных благ менее всего склонны ими поступиться. Знаю: не всегда можно требовать героизма. Но есть этический минимум, обязательный для носителя власти. Есть моменты, когда *служить* означает другое, чем прислуживаться. Когда гражданский подвиг становится обязанностью. Под годами 1911—1912 русским летописцем будет записано: «В эти годы при обер-прокуроре Святейшего Синода Владимире Карловиче Саблере православная церковь дошла до неслыханного унижения»!

После этой-то речи и было промолвлено императрицей: «Гучкова мало повесить!» Он стал уже не политическим, а личным врагом императорской четы. Он и сам именно так понимал.

Чем резче он выступал, тем жесточе становился впредь, и всё менее разборчив в средствах. В начале 1912 он распространял по обществу гектографированные копии писем императрицы и великих княжён к Распутину, добытых через монаха Илиодора (и часть оказалась подделкой). И тогда же тайный гучковский информатор, на основании какого-то прочтённого им служебного письма к Сухомлинову, вывел и донёс Гучкову, что в военном министерстве служит — и близок к министру — германский шпион Мясоедов, к тому же бывший жандармский офицер, к тому же ныне поставленный для наблюдения за политической крамолой в армии. (Такое наблюдение уже давно отсутствовало, осведомители были сняты, то была частная и недавняя попытка министра.) Нельзя было придумать более дразнящего сочетания и лучшего места для удара: в случае успеха свергался военный министр (к посту которого Гучков особенно ревновал) и ставился свой Поливанов. И Гучков не замедлил с ударами: три сенсационных газетных статьи (в двух суворинских и гучковской) — «Шпионаж и сыск», «Кто заведует в России контрразведкой?», и заявление Гучкова в Комитете Государственной Обороны. Небывалое в истории России обвинение военного министерства! Эффект усилялся тем, что привлекались симпатии общества: жандармский офицер! политический надзор! и шпионство! — вот каковы они! Общество

отзывно заволновалось, требовало открытия секретов военного министерства. Уже слухи понеслись, что Поливанов заменит Сухомлинова. Но и Гучков кроме слухов ничего не мог основательного выложить на допросе у прокурора, и те поливановские данные оказались несерьёзными. (Впрочем, и до конца жизни Гучков этого не признал.) Но и Сухомлинов трусливо медлил с опровержениями. Тогда подполковник Мясоедов на трибуне бегов ударил издателя Бориса Суворина хлыстом по лицу, а Гучкова вызвал на дуэль. О, к этому Гучков был готов всегда! Они стрелялись на Крестовском острове — и Гучков появился в Думе с подбинтованной рукой, под бурю думских аплодисментов. (А в Мясоедова он не стрелял, но тот от скандала ушёл в отставку.)

Гремели речи по стране, и казалось — всё от них менялось в государстве.

А не менялось — ничего. Бесчувственной стеной всё так же высилась Верховная Власть — и брало отчаяние, что нет таких сил — пробить в ней окна для света и сквозняка. Да полно, был ли тот Манифест, или только оставил память о поспешливой царской трусости? И сама партия октябристов — была ли (скоро «партией потерянной грамоты» назовёт её вождь правых Щегловитов)? Как будто — была, если составляла устойчивый центр 3-й Думы. Но при выборах в 4-ю, осенью 1912 года, партия потерпела поражение, атакуемая и слева и справа (особенность центра), для левых — партия помещиков и крупной буржуазии, для правых — *октябри-христопродавцы.* Потерпела поражение — и уже надо было усилиться фантазией и твёрдостью голоса, чтоб утверждать, что партия — есть. И больше всего тех усилий выпадало опять на Гучкова, истерзанного на предвыборных митингах (сравнительно с устойчивым думским положением, митинги-ухаживания за избирателями были ему унизительны), а после того — сенсация на всю Россию! — забаллотированного и своею Москвою, уже больше — не любимца, не кумира Москвы, переменчивая публика пошла перебирать дальше.

Ни правые, ни левые не простили ему его выступлений, его средней линии. Самой трудной линии общественного развития.

Ещё вчера ты считал свою партию и себя — Россией. И вдруг вы оказались совсем не Россия. Пробоина жестока, а понимание происшедшего долго не приходит. Человек никогда не постигает сразу смысла происшедшего с ним. Но когда измененья эти к успеху, к победе, — мы всё же разбираемся в них быстрей. Трудней различить, что жизнь от вершинного плоскогорья сломалась книзу, и это непоправимо, и хотя б ещё тридцать лет суждено ей тянуться, а только уже книзу и книзу.

Это пораженье настигло Гучкова всего в 50 лет. Обескураженный, он не понял и не принял приговора. Он верил ещё в свои силы — сам повернуть судьбу и свою, и партии. Испытанное средство: он уехал на балканскую войну, там пробыл год. Он год осмысливал происшедшее — и понял как знак: изменить линию борьбы.

В сентябре 1913 в Киеве на открытии памятника Столыпину Гучков возложил венок и молча до земли поклонился. Своему убитому ровеснику, единомышленнику и сопернику он понимал верность, как понимал, умерший снова бы удивился. В ноябре, непримиримый и неломимый, Гучков стянул конференцию своих расползающихся октябристов и представил им и стране — полный поворот своей деятельности:

> Наша программа, осуждённая в Пятом году как слишком умеренная и отсталая, была естественным оптимизмом эпохи, лозунгом примирения. Это был торжественный договор между исторической властью и русским обществом, договор о взаимной лояльности. И русскому обществу не было бы оправдания, если бы в момент грозной опасности для государства оно отказало бы власти в поддержке.
>
> Но борьба, в которой изнемог такой исполин, как Столыпин, оказалась уж совсем не по плечу его преемникам. Удержаться у власти можно только ценой самоупразднения. Манифест 17 октября формально не отменён, но — иссякло государственное творчество: ни широкого плана, ни общей воли, глубокий паралич. Общественные симпатии и доверие, бережно накопленные вокруг власти во времена Столыпина, вмиг отхлынули от неё. Власть не способна внушить даже и страха. Даже то злое, что оно творит, — часто без разума, рефлекторными движениями. Правительственный курс ведёт нас к неизбежной тяжёлой катастрофе. Но ошибутся те, кто рассчитывает, что на развалинах повергнутого строя

воцарится порядок. В тех стихиях я не вижу устойчивых элементов. Не рискуем ли мы попасть в полосу длительной анархии, распада государства? *Не переживём ли мы опять Смутное Время,* но в более опасной внешней обстановке?

Примирить власть и общество не удалось. Неоправданной ошибкой было бы теперь продолжать разорванный властью договор.

История ли, действительно, поворачивается вокруг нас? Или мы сами бессознательно предпринимаем эти крутые повороты, руководимые отчаянием, что именно *мы* выброшены? Но когда это всё скажется и свяжется словами — выглядит как будто стройно. За что Гучков осуждал и ненавидел кадетов всего 6 лет назад, теперь оказывалось верно для октябристов, хотя строй государственный не изменился. Октябристы становились в затылок кадетам. Потерянный Гучков поворачивал на 180° и прекрасно доказывал, что это повернулись круглые стены карусели.

Когда-то, в дни народного безумия, мы, октябристы, подняли наш голос против эксцессов радикализма, — теперь, во дни безумия власти, мы должны сделать предостережение власти. Перед грядущей катастрофой мы должны сделать последнюю попытку образумить власть. Дойдёт ли наш крик предостережения до высот, где решаются судьбы России? Заразим ли мы власть нашей мучительною тревогой? Выведем ли её из состояния сомнамбулизма? Пусть не убаюкиваются внешними признаками спокойствия. Никогда ещё революционные организации не были в таком разгроме и бессилии, и никогда ещё русское общество не было так глубоко революционизировано — действиями самой власти.

Так повернул Гучков, но поворачивать-то ему было некого, кроме думской фракции октябристов, в которую сам он уже не входил. И правое крыло октябристов и центр откололись. Только двадцатка левых октябристов поддержала Гучкова и назвалась прогрессистами.

Поворачивать было — некого. Россия — не поворачивалась. А сам Гучков проводил время более всего — в комиссии по переустройству водоснабжения Петербурга.

Может быть, действительно, он горячился и двигался суетней именно оттого, что был выкинут сам?

Ещё полный сил — и лишённый их приложения, такой же знаменитый на всю Россию — и вдруг никому не нужный, в отчаянии наблюдал Гучков малодушие политики не только внутренней, но и внешней. Не умели остаться с Германией в дружбе, как это нужно было им и нам, — но и стать супротив не умели как следует. Один мог быть смысл будущей войны — выбиваться к Константинополю, но именно Балканы, особенно Болгарию, отвратили от себя и потеряли в последние годы. У себя на петербургской квартире Гучков устраивал тайное свидание болгарского генерала и сербского посланника — мирить славянские страны. Инерция почти векового направления панславистской политики была так сильна над русскими умами, даже над реющим Достоевским, — Гучкову ли было выбиться из неё и понять, что благо России лежит только в её внутреннем развитии, а не во внешнем? У каждого времени есть свой потолок понимания, и Гучкову так же невозможно было отказаться от константинопольской мечты, как и Милюкову, и всему Прогрессивному блоку. Уже после сараевского выстрела Гучков горячился, беспокоился, что Россия не вступит в войну, и писал министру иностранных дел Сазонову:

Вот та — последняя ли? — ступень унижения, до которой мы фатально докатили благодаря малодушию Государя... Я когда-то верил в вас, желая видеть на вас отражение хоть некоторых отблесков великой русской души Столыпина. Теперь я надеюсь, что переполнится же чаша терпения русского народа, и стряхнёт он вас от себя, сколько вас ни есть.

(О, исполнится! И даже — через меру...)

Первый день войны Гучков увидел таким:

Что-то будет. Начинается расплата.

Война застала его на лечении, в Ессентуках. Он вырвался с первым же воинским поездом. На фронт! — но никакого не оставлено было ему места кроме Красного Креста, где он все годы продолжал состоять и помогал хорошо. Гучков успел под Сольдау, где сгущалась катастрофа Второй армии. И с тою же Второй армией — рок номера? повторный рок людей, оставшихся в ней же? а верней беспросветная бездар-

ность генерала Ю. Данилова («чёрного») — к ноябрю 1914 был снова почти в полном кольце под Лодзью. Сохранялся ещё узкий коридор, судьба которого решалась. Но эвакуация раненых была отрезана прежде того, и Гучков принял решение остаться с ними, отстаивать их перед немцами и разделить их судьбу. Последним коридором, посылая с князем Волконским требования помощи, он писал:

> Образовалась свалка раненых не менее 12 тысяч, и при самых скудных средствах помощи. Нужда ужасающая: и в персонале, и в перевязочных материалах, в топливе, в хлебе. Крепкий я человек, но и то трудно выдержать. Сегодня, 9 ноября, по-видимому критический день, и только чудо может спасти нашу армию. А с её судьбой связана судьба кампании, да и России. А всему виной та банда мерзавцев, которая засела наверху.

Всё же — разжали клещи, и Вторую армию в этот раз спасли. И в правительство, и в Думу Гучков писал ещё с фронта, вскоре и сам приехал в Петроград. С рассказом обошёл влиятельных министров. Каменная стена. Добился приёма у дворцового коменданта Воейкова: раскройте глаза Государю! снимите Сухомлинова скорей, не будет военного снабжения! (Понимал ли он, скорей не понимал, что срыв военного снабжения — общая черта всех воюющих сторон, но уж больно хорош был момент — ударить по Сухомлинову!) Бесполезно. Группе думцев — кадетам, центру и правым, он рисовал положение, как уже безнадёжное. Никто и верить не хотел: чудит Гучков, как всегда, скандальной славы ищет. Все ещё были в очаровании своего июльского национального единения, а значит русская победа была обеспечена.

Только в начале 1915 проняло Петроград, что на фронте плохо. Тут нанесла судьба удачный реванш: уже не Гучков — другие обвинили Мясоедова в шпионаже, и он был казнён мгновенно. Не пропали прежние усилия Гучкова и укрепился его престиж, и окончательно пал сухомлиновский. Надо было отдать Галицию и Польшу, чтобы правительство и корона достаточно перепугались, общество бы закипело, и Сухомлинов был бы наконец заменён Поливановым.

Во всей этой войне ощущая себя самым нужным России человеком, верней бы всего — военным министром, Гучков метался избыточно-лишним, никуда не пристроенным, русская судьба! Всё более так начиная понимать, что правительство не сдрогнет, не сдвинется к лучшему, с лета Гучков удачно возглавил «военно-промышленные комитеты» для технического снабжения армии (кажется верно рассчитав, что на этом поле может опередить правительство). Теперь и военным министром стал доверенный Поливанов, теперь Гучков мог рассчитывать знать все подробности из первых рук и влиять изнутри правительства. Но уже разогнанный в скорости — нет, не в затылок кадетам! — ныне, напротив, опережая их в резкости, Гучков на сентябрьских съездах 1915 предлагал распущенным думцам — *вне*парламентские способы борьбы! И — опять был жестоко отброшен, не выбран даже в депутацию от тех съездов. Прогрессивный же блок, разумно сохраняя себя, ожидал нового созыва Думы.

Теперь всё развитие проходя раньше кадетов (сидя на карусели лошадкою раньше?), беспокойный Гучков ранее кадетов метался разорвать легальные отношения с проклятой пораженческой властью, а в 1916, ранее же кадетов, ужаснулся того, к чему призывал сам:

> Наши способы борьбы обоюдоостры и при повышенном настроении народных, особенно рабочих, масс могут послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не может предвидеть, ни локализировать.

Когда власть окончательно недоступна убеждению, а открытая общественная борьба с нею грозит сжечь и взорвать всю Россию, — то что же? что же? что же одно остаётся, как не скрытый, малочисленный энергичный дворцовый переворот???

К осени 1916 года замыслы и воля Гучкова всё более уставлялись только в это одно: в дворцовый переворот.

(Продолжение следует)

В КАЖДОМ НОМЕРЕ
НАШЕГО ЖУРНАЛА В 1991 ГОДУ

Будут печататься материалы новой рубрики:
«Летопись России: история в лицах».
Вы прочтете о святом князе Владимире,
митрополите Иларионе, Александре Невском,
Дмитрии Донском, Сергии Радонежском, Андрее Рублеве,
Иване III и Иване Грозном, Ермаке,
святителе Макарии, Лжедимитрии,
о Минине и Пожарском, о всех государях династии
Романовых, патриархе Тихоне, Столыпине, Колчаке,
Деникине, Ленине, Троцком, Сталине,
о других героях и антигероях давнего
и близкого нашей Родины.
Открывают рубрику Лев ГУМИЛЕВ и Вадим КОЖИНОВ.

Вас ждет встреча с героями романа-завещания
Валентина ПИКУЛЯ «Сталинград».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЖУРНАЛ «НАШ СОВРЕМЕННИК» НАЗНАЧИЛ САМУЮ НИЗКУЮ
ПОДПИСНУЮ ЦЕНУ СРЕДИ ВСЕХ «ТОЛСТЫХ» ЖУРНАЛОВ,
ИБО ДЛЯ НАС ДУХОВНЫЕ ЗАПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫШЕ КОММЕРЦИИ.

План публикаций на подписной 1991 год читайте
на обложке № 7 нашего журнала.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

Продолжение романа Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
"Октябрь Шестнадцатого".

Миниатюры Валентина ПИКУЛЯ.

Панорама мнений
Рынок: панацея или ловушка?
Статьи А. СЕРГЕЕВА **"Из кризиса в тупик?"**
и Т. ВАСИЛЬКОВА **"Корреляция этапов".**

Статью-предупреждение Александра ПРОХАНОВА
"Идеология выживания".

Статью Михаила НАЗАРОВА
"Западники и славянофилы" –
взгляд на "вечную проблему" из Мюнхена.

Размышления Валентина РАСПУТИНА
"Сумерки людей".

Продолжение исторического повествования
Дмитрия ЖУКОВА
**"Б. Савинков и В. Ропшин.
Террорист и писатель".**

Нужен ли нам "Карабах"
в центре России? – размышляют
К. МЯЛО и П. ГОНЧАРОВ в статье **"Линия судьбы".**

Наш современник, 1990, № 8, 1–192.